

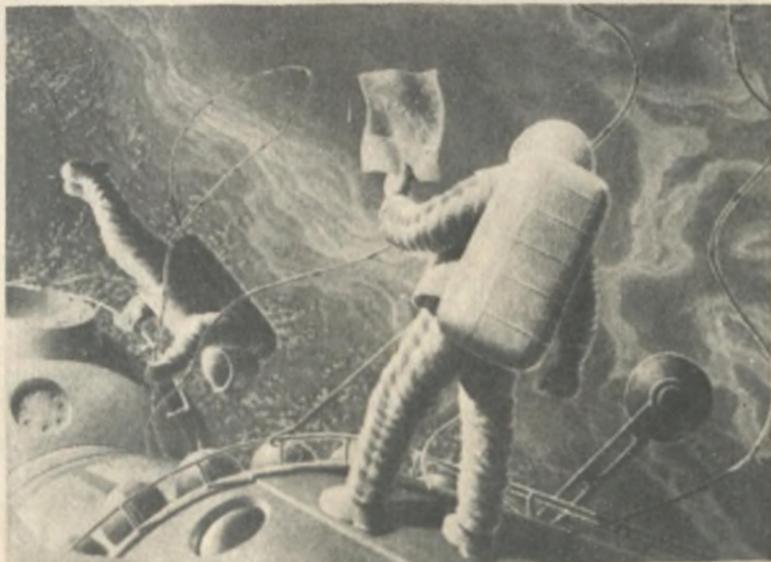
БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

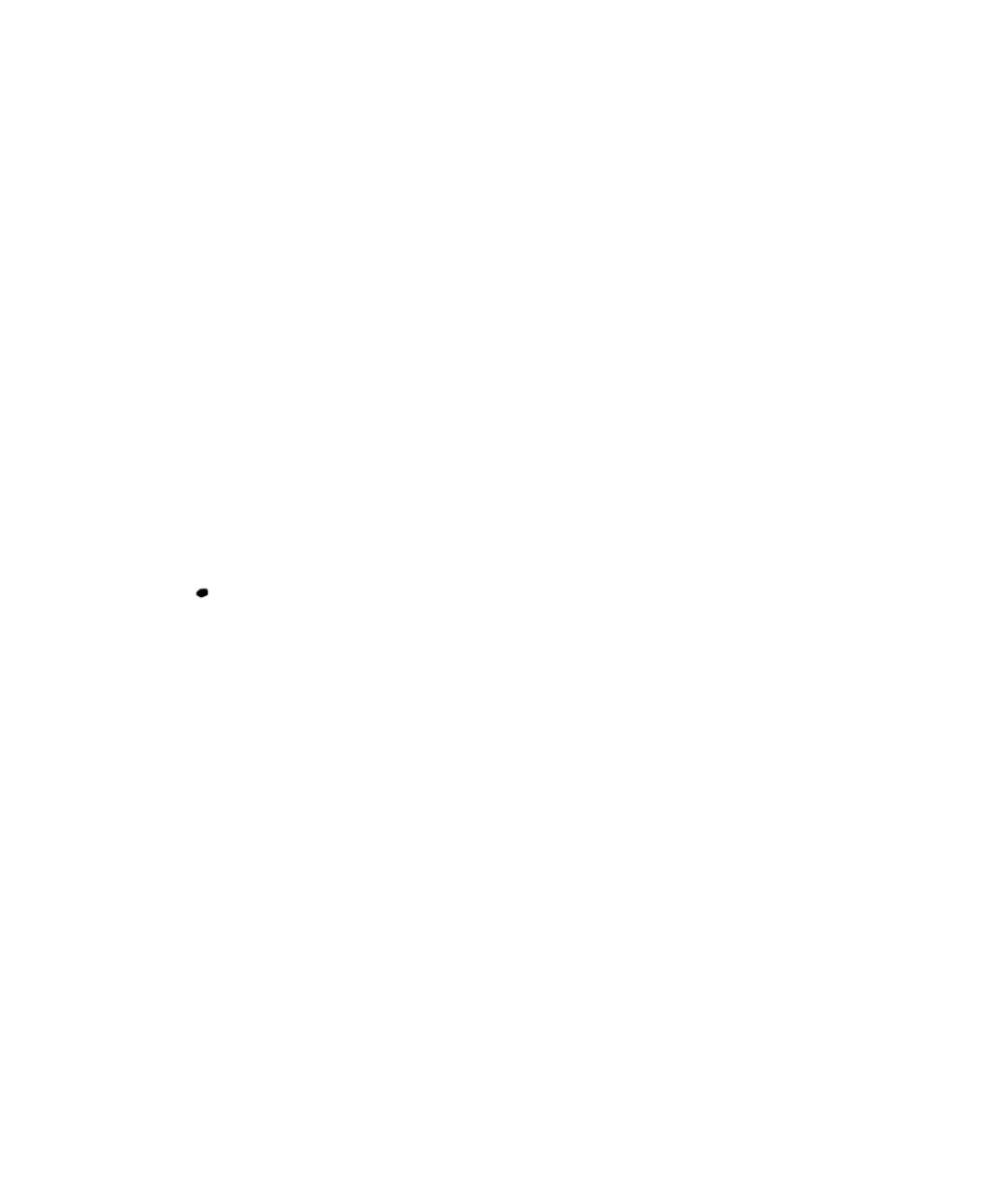
№ 20 1990



## НЭНСИ

*научно-фантастические рассказы  
американских писателей*

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЁК» № 20

Издается с января 1925 года

## НЭНСИ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ  
АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

*Составил и перевел с английского  
Ростислав Рыбкин*

Москва | Издательство «ПРАВДА»  
1990

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Джеймс БЛИШ — известный американский фантаст, автор многих романов, повестей и рассказов, с частью которых советские читатели уже знакомы.

Фредрик БРАУН — американский прозаик старшего поколения, автор научно-фантастических и детективных произведений. Многие рассказы Ф. Брауна переведены на русский язык и пользуются большой популярностью у наших читателей.

Рэй БРЭДБЕРИ — всемирно известный американский писатель, автор «Марсианских хроник», «451° по Фаренгейту», «Вина из одуванчиков» и многих блестящих фантастических и реалистических рассказов. Широко издаваемые у нас в стране произведения Рэя Брэдбери пользуются огромной популярностью у миллионов советских читателей.

Кордвейнер СМИТ — известный американский фантаст. Советские читатели до сих пор знали только его рассказ «Игра с крысодраконом».

--

*Джеймс БЛИШ*

## ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Он сразу же вспомнил свою смерть. Вспомнил, однако, как бы в двойном преломлении: будто это воспоминание о воспоминании, будто на самом деле его не было там, где он умирал.

И все же воспоминание его собственное, это вовсе не воспоминание какого-нибудь стороннего бестелесного наблюдателя,— скажем, его души. Он совсем отчетливо помнит неровное, со свистом, движение воздуха в груди. Лицо врача, быстро затуманиваясь, склонилось, замаячило над ним, приблизилось — и исчезло, когда голова врача, прижавшись боком, чтобы прослушать легкие, к его груди, вышла из поля зрения.

После этого все потемнело, и только тогда он осознал, что наступают его последние минуты. Он изо всех сил пытался выговорить имя Полины, но, кажется, это ему удалось; он помнил только свисты, и хрипы, и пелену тьмы, струящуюся в воздухе, чтобы на миг закрыть все.

Только на миг — и воспоминание оборвалось. В комнате снова было светло, а потолок, заметил он с удивлением, стал светло-зеленым. Голова доктора появилась опять и теперь смотрела на него сверху.

Доктор был не тот. Этот был намного моложе, с аскетическим лицом и почти остановившимся взглядом блестящих глаз. Сомнений не было: это другой врач. Одной из последних мыслей, промелькнувших перед смертью, была благодарность судьбе за то, что врач, присутствующий при его кончине, не оказался одним из троих лечащих врачей, явно ненавидевших его за быльные связи. Нет, лицо того лечащего врача удивительно напоминало своим выражением лицо какого-нибудь швейцарского светила медицины, призванного к смертному одру знаменитости: боязнь потерять столь знаменитого пациента смешивалась в этом лице со спокойной уверенностью, что благодаря возрасту больного никто, если больной умрет, не станет винить в этом врача. Пенициллин пенициллином, а воспаление легких в восемьдесят пять лет — дело серъезное.

Но это был не тот и ни один из тех трех.

— Теперь вы в норме,— сказал новый доктор, освобождая голову пациента от переплетения серебристых проволочек, охватывавшего ее как сетка для волос.— Полежите минутку и постарайтесь не волноваться. Вы знаете свое имя?

С опаской он сделал вдох. Похоже, что с легкими все в порядке. Он чувствовал себя совсем здоровым.

— Безусловно,— ответил он, немного задетый.— А вы свое?

Доктор криво усмехнулся.

— А характер у вас, кажется, все тот же,— сказал он.— Мое имя Баркун Крис; я психоскульптор. Ваше?

— Рихард Штраус. Композитор.

— Великолепно,— сказал доктор Крис и отвернулся.

Мысли Штрауса, однако, были заняты уже другим странным обстоятельством. В немецком языке «штраус» имя не только собственное, но и нарицательное: у слова этого много разных значений (например, «страус», «букет»), и фон Вольциген в свое время здорово повеселился, всячески обыгрывая это слово в либретто его оперы «Без огня». И это первое немецкое слово, произнесенное им или доктором Крисом с того, дважды преломленного момента смерти! Язык, на котором они говорят, также и не французский или итальянский. Больше всего он напоминает английский, но это не тот английский, который он, Штраус, знал, и тем не менее говорить и даже думать на этом языке не составляет для него абсолютно никакого труда.

Ну, что ж, теперь он сможет дирижировать на премьере «Любви Данай». Не каждому композитору удается присутствовать на посмертной премьере своей последней оперы. И, однако, во всем этом есть что-то очень странное, и особенно странно не покидающее его убеждение, что мертвым он был совсем недолго. Конечно, медицина движется вперед гигантскими шагами, это знают все, и тем не менее...

— Объясните всё это,— сказал он, приподнявшись на локоть.

Кровать тоже какая-то другая, далеко не столь удобная, как та, в которой он умер (удивительно, до чего легко пришло к нему это слово!). Что до комнаты, то она больше походила на электромеханический цех, чем на больничную палату. Неужто современная медицина mestom воскрешения мертвых избрала цех завода «Сименс-Шуккерт»?

— Минуточку,— сказал доктор Крис. Он был занят: выкатывал из середины комнаты какую-то машину туда, где, раздраженно подумал Штраус, ей и следовало быть. Покончив с этим, он снова подошел к койке.— Прежде всего, доктор Штраус, есть много вещей, которые вам придется принять такими, как они есть, даже не пытаясь их понять. Не все в сегодняшнем мире объяснимо в терминах привычных для вас представлений. Постарайтесь помнить об этом.

— Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

— Сейчас,— сказал доктор Крис.— две тысячи сто шестьдесят первый год. Иными словами, со времени вашей смерти прошло двести две-

надцать лет. Вы, конечно, понимаете, что от вашего тела за это время осталось лишь несколько костей, которые мы не стали тревожить. Тело, которое у вас теперь, родилось в наше время и было добровольно вам предоставлено. Сходство его с вашим прежним телом совсем невелико. Прежде чем вы посмотрите на себя в зеркало, вам следует знать и помнить, что, получив новое тело, вы оказались отнюдь не в проигрыше. Ваше нынешнее тело абсолютно здорово, довольно приятно на вид, и его физиологический возраст — около пятидесяти, а в наше время это поздняя молодость.

Чудо? Нет, никакое не чудо в этот новый век — просто достижение медицины. Но какой медицины!

— Где мы находимся? — спросил композитор.

— В Порт-Йорке, части штата Манхэттен, в Соединенных Штатах. Вы обнаружите, что в некоторых отношениях страна изменилась меньше, чем вы могли ожидать. Некоторые перемены, конечно, вас изумят, но какие именно, мне сказать трудно. Неплохо было бы выработать в себе терпимость.

— Понимаю, — сказал Штраус; он приподнялся и принял сидячее положение. — Еще один вопрос. Возможно ли для композитора заработать себе на жизнь в этом столетии?

— Вполне, — с улыбкой ответил доктор Крис. — Как раз этого мы от вас и ожидаем. Это одна из причин, почему мы... вернули вас.

— Значит, моя музыка по-прежнему пользуется спросом? В свое время кое-кто из критиков...

— Дело обстоит не совсем так, — перебил его доктор Крис. — Насколько я понимаю, некоторые из ваших произведений исполняются до сих пор, но, откровенно говоря, об этой стороне дела я знаю очень мало. Меня скорее интересует, как...

Где-то отворилась дверь, и появился еще один человек. Он был старше и плотнее Криса, в нем было что-то академическое, но, как и Крис, одет он был в халат странного покрова. Он окинул пациента гоготящим взглядом.

— Снова удача? — спросил он. — Поздравляю.

— Повремени, — сказал доктор Крис. — Важно завершающее испытание. Доктор Штраус, если вы чувствуете себя неплохо, мы с доктором Сейрдсом хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам хотелось бы убедиться в ясности вашей памяти.

— Конечно. Прошу вас.

— По сведениям, которыми мы располагаем, — сказал доктор Крис, — вы были когда-то знакомы с человеком, чьи инициалы Р. К. Л.; вы были тогда дирижером венской «Штаатсопера». — Произнося это слово, он протянул двойное «а» по меньшей мере вдвое дольше, чем следовало, как если бы немецкий язык был мертвым, а доктор Крис стремился правильно воспроизвести произношение. — Как они расшифровываются и кто этот человек?

— Должно быть, это Курт Лист: его первое имя было Рихард, но он им не пользовался. Он был помощником импресарио. И у него был талант: он был учеником того ужасного молодого человека, Берга... да, Альбана Берга.

Два доктора переглянулись, ноказалось, что какое-то железное правило приказывает им скрывать свои чувства.

— Почему вы предложили написать увертюру к «Женщине без тени» и подарить городу Вене ее рукопись?

— Чтобы избежать налога за уборку мусора на вилле Марии-Тerezы, которую подарил мне город.

— На заднем дворе вашего имения в Гармиш-Партенкирхене был могильный камень. Что на нем было вырезано?

Штраус нахмурился. Он был бы счастлив, если бы не мог ответить на этот вопрос. Даже если тебе вдруг взбрело в голову сделать себя предметом собственных ребяческих шуток, лучше все же не увековечивать их в камне, тем более там, где они у тебя перед глазами каждый раз, как ты идешькопаться в своем «мерседесе».

— Там вырезано,—ответил он устало,—«Посвящается памяти Гунтрама, миннезингера, зверски убитого симфоническим оркестром его отца».

— Когда состоялась премьера «Гунтрама»?

— В... минуточку... по-моему, в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году.

— Где?

— Не в Веймаре ли?

— Да. Как звали примадонну?

— Полина де Аана.

— И после этого?

— Я женился на ней,—и Штраус взволнованно подался вперед:—Она тоже жива?..

— Нет,—сказал Крис.—Мне жаль, доктор Штраус, но людей более или менее обычных мы воссоздавать не можем: нам не хватает данных о них. Вы должны нам это простить.

Композитор вздохнул. Горевать ему или радоваться? Да, он любил Полину. Но, с другой стороны, у него сейчас начинается новая жизнь. И, говоря по совести, приятно, если, входя в дом, не надо обязательно разуваться только ради того, чтобы не поцарапать паркет. И, наверное, будет приятно не слышать больше в два часа дня магическую формулу, которой Полина разгоняла гостей: «Рихард сейчас будет работать!»

— Следующий вопрос,—сказал он.

По причинам, не понятным для Штрауса (однако он принял это как должное, не задаваясь вопросами), ему пришлось расстаться с докторами Крисом и Сейрдсом сразу же после того, как оба они, к своему удо-

в летворению, убедились в том, что память его надежна и сам он здоров. Имение его, как ему дали понять, давным-давно превратилось в руины (печальный конец для того, что было когда-то одним из крупнейших частных владений в Европе), но денег, которые ему дали, оказалось достаточно, чтобы он смог обеспечить себя жильем и вернуться к активной жизни. Ему также помогли завязать полезные деловые знакомства.

Но даже к переменам в одной лишь музике ему пришлось приспособливаться дольше, чем ожидал его вполне реалистический ум. Музыка, как почувствовал он скоро, была теперь умирающим искусством, которому в ближайшем будущем предстояло оказаться примерно на таком же положении, какое в эпоху, которую он считал своей, было у икебаны, искусства составлять букеты. Тенденция к фрагментарности, отчетливо наметившаяся еще в его первую жизнь, в две тысячи сто шестьдесят первом году дошла почти до своего логического завершения.

Нынешние американские популярные песни интересовали его так же мало, как в его прежней жизни — их предшественницы, и, однако, было совершенно ясно, что поточные методы, которыми они создаются (ни один теперешний композитор, сочиняющий баллады, не скрывал, что пользуется похожим на логарифмическую линейку устройством, называющимся «поп-машина»), применяются теперь и почти во всей серьезной музыке.

Консерваторами, например, считались теперь композиторы-додекафонисты. По мнению Штрауса, это всегда была сухая и умствующая публика, но никогда в такой мере, как теперь. Их кумиры (Шёнберг, Берг, Веберн, поздний Стравинский) стали теперь в глазах любителей музыки великими мастерами, не очень доступными, может быть, но достойными такого же поклонения, как Бах, Брамс или Бетховен.

Консервативной теперь, однако, считалась даже группа, превзошедшая в новаторстве и додекафонистов. Музыка, которую писали эти люди, называлась «стохастической», выбор каждой отдельной ноты в ней осуществлялся по таблицам случайных чисел. Библией этого направления, его основополагающим текстом был том, озаглавленный «Операциональная эстетика», а его, в свою очередь, произвела на свет научная дисциплина, именовавшаяся теорией информации, и ни одно слово в этой книге не имело отношения к тем методам и приемам композиции, известным Штраусу. Идеалом, к которому стремилась эта группа, была «всеобъемлющая музыка» — такая, в которой и следа не осталось бы от композиторской индивидуальности, такая, которая была бы музыкальным выражением всеобъемлющих законов случая. Несомненно, думал Штраус, у законов случая есть собственный, характерный только для них стиль, но это стиль игры малолетнего идиота, которого учат барабанить по клавишам расстроенного рояля только для того, чтобы он не занялся чем-нибудь похуже.

Однако огромное большинство музыкальных произведений, создаваемых теперь, относились к категории, совершенно неосновательно

обозначавшейся термином «научная музыка». Ничего научного в ней не было, если не считать названий музыкальных произведений; в названиях этих упоминались космические полеты, путешествия во времени и тому подобные романтические или фантастические сюжеты. В самой же музыке не было абсолютно ничего научного. Это была мешаница штампов, подражаний и записей естественных шумов (часто настолько искаженных, что невозможно было угадать их происхождение), а также стилевых трюков, во многих из которых Штраус, к своему ужасу, обнаружил собственное стертое и покоробившееся от времени лицо.

Самой популярной формой «научной музыки» была девятиминутная композиция, называвшаяся концертом, хотя между ней и классической формой концерта не было ничего общего — скорее это напоминало ражманиновскую свободно построенную рапсодию (напоминало, не более). Типичным для этого жанра был концерт «Песнь дальнего космоса», написанный неким Х. Валерионом Крафтом. Концерт начался громким вступлением на тамтаме, после которого все струнные инструменты в унисон понеслись вверх по звукоряду; за ними, на почтительном расстоянии, следовали в параллельных шести четвертях арфа и одинокий кларнет. На самой вершине звукоряда загремели цимбалы, forte российское, и оркестр, весь целиком, ринулся очертя голову в мажорно-минорную воющую мелодию — весь, кроме охотничьих рожков, потащившихся вниз (это должно было означать контр тему). Солирующая труба с намеком на tremolo подхватила вторую фразу темы, оркестр до нового всплеска впал в клиническую смерть, и в этот момент, как мог предвидеть любой младенец, вступил со второй темой рояль.

Позади оркестра стояли тринадцать женщин, готовые вступить хором без слов, чтобы создать ощущение жути космических пространств; но Штраус уже научился в такие моменты вставать и уходить. После нескольких таких уходов он мог быть уверенными, что в фойе его поджидает Синди Нанесс, агент, с которым его свел доктор Крис и который взял на себя сбыт творческой продукции заново родившегося композитора (новой, которая у него появится). Синди эти уходы его клиента уже перестали удивлять, и он терпеливо ждал его, стоя под бюстом Джан-Карло Менотти; но это нравилось ему все меньше и меньше, и в последнее время при виде выходящего Штрауса он начинал краснеть и бледнеть от раздражения.

— Вам не следовало этого делать! — взорвался он после случая с «Песней дальнего космоса». — Нельзя просто так вот встать и уйти с нового крафтовского концерта. Как-никак, он президент Межпланетного Общества Современной Музыки. Как мне убедить их в том, что вы тоже современный, если вы все время щелкаете их по носу?

— Какое это имеет значение? — возразил Штраус. — В лицо они меня все равно не знают.

— Ошибаетесь. Они знают вас очень хорошо и следят за каждым вашим шагом. Вы первый крупный композитор, за которого рискнули

взяться психоскульпторы, и МОСМ были бы рады слушаю избавиться от вас.

— Почему?

— О,— сказал Синди,— по тысяче причин. Скульпторы — снобы. Парни из МОСМа — тоже. Одни хотят доказать другим, что их вид искусства важнее всех прочих. А потом, ведь существует еще и конкуренция: лучшие отделяться от вас, чем допустить вас на рынок. Поверьте мне, будет лучше, если вы вернетесь в зал. Я придумаю какое-нибудь объяснение...

— Нет,— оборвал его Штраус.— Мне надо работать.

— Но в этом-то все и дело, Рихард! Как мы сможем поставить оперу без содействия МОСМа? Ведь это вам не соло для терменвокса или еще что-то, не требующее больших расх...

— Мне надо работать,— сказал Штраус, поворачиваясь, чтобы уйти.

И он работал — так самозабвенно, как не работал ни над чем за последние двадцать лет своей прежней жизни. Стоило ему коснуться первом листа нотной бумаги (и то и другое найти оказалось невероятно трудно), как он понял: ничто в его долгом творческом пути не дает ему ключей к пониманию того, какую музыку он должен писать теперь.

Тысячами нахлынули и закружились вокруг него старые испытанные приемы: внезапные смены тональностей на гребне мелодии, растягивание пауз; разноголосица струнных в верхних октавах, нагромождаемая на качающуюся и готовую рухнуть кульминацией; сумятица фраз, молниеносно перелетающая от одного оркестрового хора к другому, мгновенные выходы меди, короткий смех кларнетов, рычащие тембровые сочетания (чтобы усилить драматизм), в общем, все, что он умел и знал.

Но ни один из этих приемов теперь не удовлетворял его. Большую часть своей жизни он довольствовался ими и совершил при их помощи огромную работу. Но теперь пришло время начать все заново. Кое-какие из этих приемов теперь казались ему просто отталкивающими: с чего, например, он взял (и цеплялся за это убеждение десятки лет), что скрипки, завопившие в унисон где-то в стратосфере — звук достаточно интересный, чтобы повторять его хотя бы в пределах одной композиции (а уж всех — и подавно)?

И ведь ни у кого никогда, с чувством ликования думал он, не было такой, как сейчас у него, возможности начать все сначала. Помимо прошлого, целиком сохраненного его памятью и всегда ему доступного, он располагает арсеналом технических приемов, равного которому не было ни у кого; это признавали за ним даже враждебно настроенные к нему критики. Теперь, когда он пишет свою в известном смысле первую опе-

ру ( первую -- после двадцати с лишним!), у него есть все возможности сделать ее шедевром.

И кроме возможностей -- желание.

Конечно, мешают всякие мелочи. Например, поиски старинной нотной бумаги, а также ручки и чернил, чтобы писать на ней. Выяснилось, что очень немногие из современных композиторов записывают свою музыку на бумаге. Большинство пользуются магнитофонной лентой: склеивают кусочки с записями тонов и естественных шумов, вырезанные из других лент, накладывают одну запись на другую и варьируют результаты, крутя множество разных ручек. Что же касается композиторов, пишущих партитуры для стереовидения, то почти все они чертят, прямо на звуковой дорожке, зубчатые извилистые линии, которые, когда их пропустят через цепь из фотоэлемента и динамика, звучат довольно похоже на оркестр, с обертонами и всем прочим.

Закоренелые консерваторы, все еще писавшие музыку нотами на бумаге, делали это через посредство музыкальной пишущей машинки. Машинку (это Штраус не мог не признать) наконец усовершенствовали; правда, у нее клавиши и педали, как у органа, но размером она лишь в два с небольшим раза больше обычной пишущей машинки, и напечатанная на ней страничка выглядит прилично и опрятно. Однако Штрауса вполне устраивал его собственный, тонкий, как паутина, но очень разборчивый почерк, и он вовсе не собирался отказываться от него, хотя под тем единственным пером, какое ему удалось достать, почерк этот становился толще и грубее. Старинный способ записи помогал Штраусу сохранить связь со своим прошлым.

При вступлении в МОСМ тоже не обошлось без неприятных моментов, хотя при содействии Синди он благополучно миновал рогатки политического характера. Секретарь Общества, решавший вопрос о его членстве, опросил его, обнаруживая не больший интерес, чем проявил бы ветеринар, обследующий четырехтысячного по счету больного теленка:

- Печатали что-нибудь?
- Да. Девять симфонических поэм, около трехсот песен, одну...
- Не при жизни,— в голосе экзаменатора появилось что-то неприятное.— С тех пор, как скульпторы вас сделали.
- С тех пор, как скульпторы?.. О, я понимаю. Да. Струнный квартет, два песенных цикла...
- Хватит. Элфи, запиши: песни. На чем-нибудь играете?
- На фортепиано.
- Хм.— Экзаменатор внимательно оглядел свои ногти.— Ну, ладно. Музыку читаете? Или, может, пользуетесь «Писцом», или резаной лентой? Или машинкой?
- Читаю.
- Сядьте.

Экзаменатор усадил Штрауса перед освещенным экраном, поверх которого ползла широкая прозрачная лента. На ленте была во много раз увеличенная звуковая дорожка.

— Просвистайте мне и назовите инструменты, на которые это похоже.

— Эти каракули я не читаю, — ледяным тоном ответил Штраус. — И не пишу. Я пишу обычными нотами, на нотной бумаге.

— Элфи, запиши: читает только ноты. — Он положил на стекло экрана лист плохо отпечатанных нот. — Просвистите мне вот это.

«Это» оказалось популярной песенкой «Вэнги, снифтеры и кредитный снукки», написанной на поп-машинке в две тысячи сто пятьдесят девятом году политиком-гитаристом, певшим ее затем на предвыборных собраниях. (В некоторых отношениях, подумал Штраус, Соединенные Штаты и в самом деле мало изменились.) Песенка эта была так популярна, что любой насвистал бы ее по одному названию, независимо от того, мог он или не мог прочитать ее ноты. Штраус просвистал ее и, чтобы не возникло сомнений в его добросовестности, добавил:

— Она в тональности си-бемоль мажор.

Экзаменатор подошел к зеленому пианино и ударил по замусоленной черной клавише. Инструмент был расстроен до невероятности (прозвучавшая нота была куда ближе к обычному ля частотой в четыреста сорок герц, чем к си-бемоль), но экзаменатор сказал:

— Точно. Элфи, запиши: «Читает также бемоли». Ну что ж, сынок, теперь ты член Общества. Приятно знать, что ты с нами. Не так много осталось людей, которые еще могут читать старинные ноты. Многие воображают, что они слишком хороши для этого.

— Благодарю вас, — ответил Штраус.

— Я лично считаю, что если эти ноты годились для старых мастеров, то они вполне годятся и для нас. Мое мнение такое, что равных старым мастерам среди нас нет — не считая, конечно, доктора Краффта. Да, великие были люди, эти самые Шилкрит, Стайнер, Темкин, Пэрл... Уайлдер, Янссен...

— Разумеется, — вежливо сказал Штраус.

Но работа шла своим чередом. Теперь он уже кое-что зарабатывал — небольшими вещами. По-видимому, у публики был повышенный интерес к композитору, вышедшему из лабораторий психоскульпторов; но и сами по себе (на этот счет у Штрауса не было никаких сомнений) его сочинения обладали достоинствами, которые неизбежно должны были создать спрос.

Однако по-настоящему важной была для него только опера. Она росла и росла под его пером, молодая и новая, как его новая жизнь, питающаяся, как и его всеобъемлющая память, почвой знания и зрелости.

Сначала возникли затруднения: он никак не мог подобрать для нее либретто. Не исключалось, что в море литературы для стереовидения (хотя он в этом и сомневался) может найтись что-нибудь подходящее; но выяснилось, что в этой сфере он не в состоянии отличить хорошее от плохого из-за бесчисленного множества непонятных для него технических терминов. В конце концов в третий раз за весь свой творческий путь он обратился к пьесе, написанной на языке, который не был для него родным — и в первый раз решил пьесу на этом языке поставить.

Пьеса эта, «Видна Венера» Кристофера Фрая, представляла собой, как он постепенно начал понимать, идеальное либретто для его оперы. Якобы комедия, но со сложной фарсовой фабулой, эта пьеса в стихах обнаруживала неожиданную глубину, а ее персонажи словно взывали к музыке вывести их в три измерения; и ко всему этому скрытое в подтексте, но совершенно определенное настроение осенней трагедии, опадающих листьев и падающих яблок — противоречивая и полная драматизма смесь, именно такая, какой в свое время снабдил его фон Гофмансталь для «Рыцаря розы», для «Ариадны в Наксосе» и для «Арабеллы».

Увы, фон Гофмансталь больше не мог помочь ему; зато нашелся другой, тоже давно умерший драматург, почти такой же одаренный, как фон Гофмансталь. И какие огромные музыкальные возможности! Например, пожар в конце второго акта: какой материал для композитора, стихия которого — оркестровка и контрапункт! Или, например, момент, когда Перпетуа стрелой выбивает яблоко из рук герцога; одна беглая аллюзия в этот миг могла вплести в ткань его оперы россiniевского мраморного «Вильгельма Телля», становящегося всего лишь ироническим примечанием! А большой заключительный монолог герцога, начинавшийся со слов:

Будет ли жаль себя мне? Да, за смертность  
Мне будет жаль себя. Стволы и ветви,  
Бурые холмы, долины в дымке,  
Зеркальную гладь озера...

Монолог, будто специально написанный для великого трагического комика в духе Фальстафа; завершающее слияние смеха и слез, прерываемое сонными замечаниями Райдбека, под звучный храп которого (тромbones, не меньше четырех; может быть, с сурдинами?) медленно опустится занавес...

После десяти страниц фраевской пьесы его муз снова улыбалась ему: опера была у него в руках.

Организуя постановку, Синди творил чудеса. Дата премьеры была объявлена задолго до того, как была закончена партитура, и это приятно напомнило Штраусу те горячие деньки, когда Фюрстнер хватал с его рабочего стола каждую новую страницу завершающей «Электры», не дожидаясь, чтобы на ней просохли чернила, и мчался с ней к граверу, чтобы

успеть к назначенному для публикации сроку. Теперь было еще трудней, потому что часть партитуры должна была быть написана прямо на звуковой дорожке, часть — склеена из кусочков ленты, а часть — выгравирована по старинке, соответственно требованиям, предъявлявшимся новой театральной техникой, и Штраусу временами начинало казаться, что бедный Синди того гляди поседеет.

Но, как обычно бывало со Штраусом, «Видна Венера» потребовала для своего завершения длительного времени. Писать черновик было дьявольски трудно, и на новое рождение это походило гораздо больше, чем то мучительное пробуждение в лаборатории Баркуна Криса с воспоминанием о смерти. Но одновременно Штраус обнаружил, что у него целиком сохранилась прежняя его способность почти автоматически писать с черновика партитуру, — способность, на которую не влияли ни сестования присутствовавшего Синди, ни ужасающий сверхзвуковой грохот ракет, с быстротой молнии проносящихся над городом.

Он кончил все за два дня до начала репетиций. Репетиции должны были идти без его участия. Исполнительская техника в эту эпоху настолько тесно сплелась с электронным искусством, что его собственный опыт (его, короля капельмейстеров!) оказывался безнадежно устаревшим.

Он не спорил. Музыка скажет сама за себя. А пока приятно отвлечься на время от работы, которой он в течение года отдавал всего себя. Он снова вернулся в библиотеку и стал перебирать подряд старые стихи в поисках текстов для одной-двух песен. Новых поэтов он обходил: они ничего не могли сказать ему, и он это знал. Но американцы его эпохи, думал он, в них он, возможно, найдет ключ к пониманию Америки две тысячи сто шестьдесят первого года; а если какое-нибудь из стихотворений даст рождение песне — тем лучше.

Поиски эти действовали на него необычайно благотворно, и он ушел в них с головой. В конце концов он наткнулся на магнитофонную запись, которая пришла ему по душе: запись надтреснутого старческого голоса с гнусавым акцентом штата Айдахо 1900 года. Поэт, которого звали Эзра Паунд, читал:

.....души людей великих  
По временам сквозь нас проходят,  
И растворяемся мы в них, и наша суть —  
Лишь отражения их душ.  
Вот только что был Данте я, и вдруг  
Я — некий Франсуа Вийон, король баллад и вор,  
Или один из тех, таких святых,  
Что их имен не смею написать,  
Дабы кощунствующим не прослыть.  
Всего на миг — и пламени уж нет...

Вот час, когда мы быть перестаем,  
А те, душ повелители, живут.

Он улыбнулся. Сколько написано об этом со временем Платона! И в то же время стихотворение как бы о нем самом, оно словно объясняет метемпсихоз, в который он оказался вовлечен, и при этом волнует своей формой. Пожалуй, стоит сделать из него гимн в честь своего собственного второго рождения и в честь прорицательского гения поэта.

Внутренним слухом он услышал торжественную поступь аккордов, от которой перехватывало дыхание. Начальным словам можно придать звучание патетического шепота, потом — полный драматизма пассаж, в котором великие имена Данте и Вийона встанут, звения, как вызов, брошенный Времени... Он начал писать, и только потом, уже кончив, поставил кассету на стеллаж.

«Доброе предзнаменование», — подумал он.

Наступил вечер премьеры. В зал потоком хлынула публика, в воздухе без всякой видимой опоры плавали камеры стереовидения, и Синди уже вычислял свою долю от дохода клиента при помощи сложной игры на пальцах, главное правило которой состояло, по-видимому, в том, что один плюс один в сумме дают десять. Публика, заполнившая зал, была самой разношерстной, будто предстояло цирковое представление, а не опера.

К его удивлению, в зале появилось также и около пятидесяти беспристрастных, аристократичных психоскульпторов, одетых в свои облачения — черно-алые халаты того же фасона, что и их рабочая одежда. Они заняли целую секцию кресел в передних рядах, откуда гигантские фигуры стереовидения, которым вскоре предстояло заполнить «сцену» перед ними (в то время как настоящие певцы будут находиться на небольшой эстраде в подвале), должны казаться чудовищно огромными; но Штраус подумал только, что психоскульпторы, наверно, об этом знают — и мысли его переключились на другое.

Когда еще только первые психоскульпторы появились в зале, шум голосов усилился, и теперь в зале ощущалось возбуждение, смысл которого Штраусу был непонятен. Раздумывать над этим он, однако, не стал: он был поглощен борьбой со своим собственным волнением, которое всегда испытывал в вечер премьеры и от которого за столько лет жизни ему так и не удалось избавиться до конца.

Мягкий, неизвестно откуда льющийся свет потускнел, и Штраус поднялся на возвышение. Перед ним лежала партитура, но он подумал, что едва ли она будет ему нужна. Между музыкантами и микрофонами высовывались рыла неизбежных камер стереовидения, готовые понести его образ к певцам в подвале.

Публика умолкла. Наконец-то пришло его время! Его палочка взметнулась вверх, потом стремительно ринулась вниз, и снизу, из оркестра, навстречу ей мощной волной поднялась первая тема. Свет стал ярче, и все увидели домашнюю обсерваторию герцога с напоминающим фаллос телескопом, и там, в этой обсерватории, началась вступительная сцена, богатая музыкальными реминисценциями и вполне заменяющая прелюдию, так как позволяет сразу же ввести все основные лейтмотивы.

На какое-то время его внимание целиком поглотила всегда нелегкая задача следить за тем, чтобы большой оркестр слаженно и послушно следовал всем изгибам музыкальной ткани, возникающей под его рукой. Но по мере того, как его власть над оркестром крепла, задача эта стала предъявлять к нему несколько меньше требований, и он мог уделить теперь внимание звучанию целого.

А вот с ним, звучанием целого, явно было что-то не то. Отдельных неприятных сюрпризов, конечно, можно было ожидать: то или другое место звучало при исполнении оркестром иначе, чем он рассчитывал. Такое бывает с каждым композитором, даже если за плечами у него опыт целой жизни. И были моменты, когда певцы, начиная фразу, спрашиваться с которой оказывалось труднее, чем он ожидал, становились похожими на канатоходца, который вот-вот свалится с каната (хотя на самом деле ни один из них ни разу еще не наврал; с лучшей группой голосов ему не приходилось работать).

Но это лишь детали. Беда была в звучании целого. Не только радостное волнение премьеры покидало его теперь (оно в конце концов не могло продержаться весь вечер на одном и том же уровне), прощадал даже интерес к тому, что доносится до его слуха со сцены и из оркестра. К тому же им начала постепенно овладевать усталость. Рука, державшая дирижерскую палочку, становилась все тяжелее и тяжелее. Когда в первом акте настало время для того, что должно было стать бурлящим и блещущим страстью потоком звуков, он обнаружил, что ему скучно, невыносимо скучно, и хочется вернуться за свое бюро и поработать над песней.

Первый акт кончился; впереди оставалось только два. Аплодисменты прошли мимо его ушей. Двадцатiminутного отдыха в его комнате едва хватило, чтобы восстановить его силы. Он был ошеломлен. Казалось, что музыку написал кто-то другой, хотя он ясно помнил, как писал каждую ее ноту.

И вдруг в середине последнего акта он понял.

В музыке не было ничего нового. Это был все тот же старый Штраус — но только слабее, жиже прежнего, как будто какой-то злой волшебник вдруг превратил его в усталого старого неудачника, в ту карикатуру на него, которую критики выдумали в самые лучшие его годы. По сравнению с продукцией композиторов, подобных Краффту, «Видна

Венера» в глазах этой публики, несомненно, была шедевром. Но он-то знал, как знал бы и в прежние годы — будь критики тогда правы. Тогда они ошибались; но теперь вся его решимость порвать со штампами и вычурностью, вся его тяга к новому обернулись ничем только потому, что на пути их встала сила привычки. Возвращение к жизни его, Штрауса, означало в то же время возвращение к жизни всех этих глубоко запечатленных в нем рефлексов его стиля. Стоит ему взяться за перо, как они овладевают им совершенно автоматически, не более доступные его контролю, чем палец, отдергиваемый от пламени, и настолько лишенные подлинной жизни, что возникает вопрос: а была ли когда-нибудь вообще в его жилах хотя бы капля божественной крови?..

К глазам его подступили слезы. Тело у него молодое, но сам он старик... да, старик. Еще тридцать пять лет такой жизни? Никогда, никогда! Все это было им сказано еще сотни лет назад. Быть осужденным на то, чтобы еще полвека снова и снова повторять самого себя голосом, который звучит все слабее и слабее, и знать, что даже это жалкое столетие рано или поздно поймет, что от величия остался лишь пепел? Нет, никогда!

Он не сразу понял, что опера кончилась. Стены сотрясал восторженный рев публики. Он знал этот звук: они так же ревели на премьере «Дня мира» в 1938 году. Здесь аплодировали человеку, которым он был когда-то, а не тому, которым, как с беспощадной ясностью показала «Видна Венера», он стал теперь — о, если бы у них были уши, чтобы слышать! Аплодисменты невежества — неужели ради них был весь его тяжкий труд? Нет. Он их не примет.

Он медленно повернулся лицом к залу — и чуть не потерял над собой контроль, а потом, как ни странно, почувствовал даже облегчение от того, что аплодируют совсем не ему.

Аплодировали доктору Баркуну Крису.

Крис раскланивался, встав со своего места посреди секции психоскульпторов. Психоскульпторы, занимавшие места по соседству с ним, отталкивали друг друга, чтобы скорее пожать ему руку. Все новые и новые руки тянулись к руке Криса, пока тот пробирался к проходу между рядами и пока шел по проходу к сцене. Когда же Крис поднялся к диррижерскому пульту и сам взял вялую руку композитора, публика, казалось, обезумела.

Крис поднял руку, и в один миг в зале воцарилась напряженная тишина.

— Благодарю вас, — проговорил он громко и отчетливо. — Дамы и господа, прежде чем мы расстанемся с доктором Штраусом, давайте снова скажем ему, какое огромное удовольствие мы испытали, слушая это его новое великолепное произведение. Я думаю, такое прощание будет наилучшим.

Овация длилась пять минут, и продолжалась бы еще столько же, если бы Крис не оборвал ее.

— Доктор Штраус,— продолжал он,— в миг, когда я произнесу определенное слово, вы осознаете, что вы Джером Бош, человек, родившийся в нашем столетии и имеющий свою собственную жизнь. Искусственно введенные в вашу психику воспоминания, заставившие вас надеть на себя личину великого композитора, исчезнут. Мы очень хотели бы, чтобы Рихард Штраус остался с нами и прожил среди нас еще одну жизнь, но законодательство, регулирующее психоскульптуру, не позволяет нам навсегда исключить из жизни донора вашего тела, который имеет право на свою собственную долгую жизнь. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы поняли, почему сидящие здесь люди делят свои апподисменты между вами и мной.

Слова Криса прервал гул одобрения.

— Искусство психоскульптуры (создание искусственных личностей ради эстетического наслаждения), возможно, никогда более не достигнет такой вершины. Знайте: как Джером Бош вы были абсолютно лишены каких бы то ни было музыкальных способностей; мы потратили много времени на поиски донора, который был бы неспособен запомнить даже простейший мотив. И, однако, в такой малообещающей материал нам удалось вложить не только личность, но и гений великого композитора. Гений этот принадлежит исключительно вам, той личине Джерома Боша, которая считает себя Рихардом Штраусом. За донором вашего тела заслуги здесь нет никакой. Это ваш триумф, доктор Штраус, и мы вас чествуем.

Теперь овация вышла из берегов. Криво улыбаясь, Штраус смотрел, как кланяется доктор Крис. Эта их психоскульптура — достаточно утонченный, на уровне века, вид жестокости; но само по себе стремление к такого рода вещам существовало всегда. Это то самое стремление, которое побуждало Рембрандта и Леонардо превращать трупы в произведения искусства.

Что ж, утонченная жестокость заслуживает столь же утонченного воздействия: око за око, зуб за зуб и неудача за неудачу.

Нет, не стоит говорить доктору Крису, что в Рихарде Штраусе, которого он создал, гения так же мало, как в сущеной тыкве. Он и так подщипил над собой, этот скульптор: сумел подделать великого композитора, но так никогда и не поймет, насколько пуста музыка, которая будет теперь храниться на лентах стереовидения. Домашнее задание по музыкальной критике Крис выполнил хорошо, по музыке — неудовлетворительно; и, по трудам своим, получил не настоящего Штрауса, а Штрауса критиков. Что же, пусть, если это его устраивает...

Но на какой-то миг словно мятежное пламя взметнулось в его жилах. «Я — это я,— подумал он.— я останусь Рихардом Штраусом до самой смерти и никогда не стану Джеромом Бошем, неспособным запомнить даже самый простой мотив». Его рука, все еще державшая дири-

жерскую палочку, резко поднялась, но для того ли, чтобы нанести удар или чтобы отвести, он сказать не мог.

Он дал ей упасть и поклонился — не публике, а доктору Крису.

Он ни о чем не жалел, когда Крис повернулся к нему, чтобы произнести слово, которое снова низвергнет его в смерть, только о том, что теперь ему уже никогда не положить те стихи на музыку.

*Фредрик БРАУН*

## КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Ужас пришел в Черрибелл после полудня в один из невыносимо жарких дней августа.

Возможно, некоторые слова тут лишние: любой августовский день в Черрибелле, штат Аризона, невыносимо жарок. Черрибелл стоит на 89-й автомагистрали, миль на сорок южнее Тусона и миль на тридцать севернее мексиканской границы. Две бензозаправочные станции (по обе стороны дороги — чтобы ловить проезжающих в обоих направлениях), универсальный магазин, таверна с лицензией на вино и пиво, киоск — ловушка для туристов, которым не терпится поскорей обзавестись мексиканскими сувенирами; пустующая палатка, в которой прежде творили рублеными шнициелями, да несколько домов из необожженного кирпича, обитатели которых — американцы мексиканского происхождения, работающие в Ногалесе, пограничном городке к югу от Черрибелла, и бог знает почему предпочитающие жить здесь, а на работу ездить (причем некоторые — на дорогих фордах), — вот что такое Черрибелл. Плакат над дорогой возвещает: Ч е р и б е л л, Нас. 42, — но, пожалуй, плакат преувеличивает, Нас умер в прошлом году, тот самый Нас Андерс, который в ныне пустующей палатке торговал рублеными шнициелями; и правильной теперь была бы цифра 41.

Ужас явился в Черрибелл верхом на ослике, а ослика вел древний, седобородый и замурзанный крот-старатель, назвавшийся потом Дейдом Грантом. Имя ужаса было Гарвейн. Ростом примерно в девять футов, он был худ, как щепка, так худ, что весил наверняка не больше ста фунтов, и, хотя ноги его волочились по песку, нести на себе эту ношу ослику старого Дейда было, по-видимому, совсем не тяжело. Как выяснилось позднее, ноги Гарвейна бороздили песок на протяжении пяти с лишним миль, однако это не принесло ни малейшего ущерба его ботинкам, большие похожим на котурны, кроме которых на нем не было ничего, если не считать голубых, как яйцо малиновки, плавок. Но не рост и не сложение делали его страшным: ужас вызывала его кожа, красная, точно сырое мясо. Вид был такой, как если бы кожу с него содрали, а потом надели снова, но уже вывернутой наизнанку. Его череп и лицо бы-

ли, как и весь он, продолговатыми и узкими; во всех других отношениях он выглядел человеком или по крайней мере похожим на человека существом. Если только не считать мелочей вроде того, что его волосы были под цвет его плавок, голубых, словно яйцо малиновки, и такими же были его глаза и ботинки. Только два цвета: кроваво-красный и светло-голубой.

Первым заметил их на равнине, приближающихся со стороны восточного хребта, Кейси, хозяин таверны, который только что вышел через заднюю дверь своего заведения, чтобы глотнуть пурпур раскаленного, но все же чистого воздуха. Они в это время были уже ярдах в ста от него, и фигура верхом на ослике сразу же поразила его своим странным видом. Сначала — только странным: ужас охватил его, когда расстояние уменьшилось. Челюсть Кейси отвисла и оставалась в таком положении до тех пор, пока странная троица не оказалась от него ярдах в пятидесяти: тогда он медленно к ней двинулся. Некоторые люди бегут при виде неизвестного, другие идут навстречу. Кейси принадлежал к числу последних.

Они были еще на открытом месте, в двадцати ярдах от задней стены его маленькой таверны, когда он подошел к ним вплотную. Дейд Грант остановился и бросил веревку, на которой он вел ослика. Ослик остановился и опустил голову. Человек, похожий на жердь, встал — то есть просто уперся ногами в землю и поднялся над осликом. Потом он перешагнул через него одной ногой, на мгновение замер, упираясь обеими руками в его спину, а потом сел на песок.

— Планета с высокой гравитацией, — сказал он. — Долго не простоишь.

— Где бы мне, приятель, водички раздобыть для ослика? — спросил у Кейси старатель. — Пить, верно, хочет, бедняга. Бурдюки и другое придется оставить, а то бы разве довез... — И он ткнул оттопыренным большим пальцем в сторону красно-голубого страшилища.

А Кейси только теперь начал понимать, что перед ним самое настоящее страшилище. Если издали сочетание этих цветов пугало лишь слегка, то вблизи кожа казалась шершавой, покрытой сосудами и влажной, хотя влажной вовсе не была, и провалиться бы ему на этом самом месте, если она не выглядела содранной со страшилища, вывернутой наизнанку и снова надетой. А то просто содранной — и все. Кейси никогда не видел ничего подобного и надеялся, что ничего подобного больше никогда не увидит.

Он услыхал позади себя какое-то движение и обернулся. Это были другие жители Черрибелла — они тоже увидели и теперь шли сюда, но ближайшие из них, двое мальчишек, были еще в десятке ярдов от Кейси.

— Muchachos, — крикнул он им, — agua para el burro. Un pozal. Propto.

---

— Мальчики, воды для ослика. Одно ведро. Быстро. (исп.).

Потом он вновь повернулся к пришельцам и спросил их:

— Кто вы такие?

— Меня звать Дейд Грант,— ответил старатель, протягивая руку, которую Кейси машинально взял. Когда Кейси ее выпустил, она, взметнувшись над плечом старателя, показала большим пальцем на сидевшего на песке.

— А его, говорит, звать Гарвейн. Космач, что ли, и какой-то министр.

Кейси кивнул человеку-жерди и был рад, когда в ответ последовал кивок, а не протянутая рука.

— Мое имя Мэньюэл Кейси,— сказал он.— Что он там говорит насчет космача какого-то?

Голос человека-жерди оказался неожиданно глубоким и звучным:

— Я из космоса. И я полномочный министр.

Как это ни удивительно, Кейси обладал довольно широким кругозором и знал оба эти выражения; что же касается второго из них, то Кейси, вероятно, был единственным человеком в Черибelle, кому был понятен его смысл. Тот факт, что он поверил обоим этим заявлениям, был, учитывая внешность его собеседника, менее удивительным, чем то обстоятельство, что Кейси вообще знал, о чем идет речь.

— Чем я могу быть вам полезен, сэр?— спросил он.— Но прежде всего не перейти ли нам в тень?

— Благодарю вас, не надо. У вас немного прохладнее, чем мне говорили, но я чувствую себя великолепно. На моей планете так бывает прохладными весенними вечерами. А если говорить о том, что вы могли бы для меня сделать, то вы можете сообщить вашим властям о моем прибытии. Думаю, что это их заинтересует.

Да, подумал Кейси, тебе посчастливилось напасть на человека, полезнее которого в этом смысле не найдешь и на двадцать миль вокруг. Мэньюэл Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец, и у него был сводный брат, наполовину ирландец, наполовину всякая всячина, и этот брат был полковником на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан под Тусоном.

— Одну минуточку, мистер Гарвейн, я сейчас позвоню. А вы, мистер Грант, не хотите под крышу?— сказал Кейси.

— По мне так пусть жарит. Все равно день-деньской на солнышке. Вот, значит, этот самый Гарвейн и говорит мне: не откалывайся, покуда я не кончу дела. Сказал, даст мне какую-то диковину, если пойду с ним. Чего-то ликитронное...

— Портативный электронный рудоискатель на батарейном питании,— уточнил Гарвейн.— Несложный прибор, устанавливает наличие рудных залежей на глубине до двух миль, указывает вид руды, содержание в ней металла, объем месторождения и глубину залегания.

Кейси судорожно глотнул воздуху, извинился и через собирающуюся толпу протолкался в свою таверну. Через минуту он уже говорил

с полковником Кейси, но потребовалось еще пять минут, чтобы убедить полковника, что он, Мэньюэл Кейси, не пьян и не шутит.

Через двадцать пять минут в небе послышался шум, который все нарастал — и замер, когда четырехместный вертолет сел и отключил роторы в десяти ярдах от существа из космоса, ослика и двух мужчин. Только у Кейси хватило пока смелости подойти к пришельцам из пустыни вплотную; остальные любопытствующие предпочитали держаться на расстоянии.

Полковник Кейси, а за ним майор, капитан и лейтенант, пилот вертолета, выскочили из кабины и побежали к маленькой группе. Человек, похожий на жердь, встал и выпрямился во все свои девять футов; усилия, которых это ему стоило, говорили о том, что он привык к гравитации гораздо меньшей, нежели земная. Он поклонился, повторил свое имя и опять назвался полномочным министром из космоса. Потом он извинился за то, что снова сядет, объяснил, почему он вынужден это сделать, и сел.

Полковник представился и представил трех своих спутников.

— А теперь, сэр, что мы можем для вас сделать?

Человек, похожий на жердь, скрчил гримасу, которая, по-видимому, означала улыбку. Зубы его оказались такими же голубыми, как глаза и волосы.

— У вас часто можно услышать фразу: «Я хочу видеть вашего шефа». Я этого не прошу: мне необходимо оставаться здесь. В то же время я не прошу, чтобы кого-нибудь из ваших шефов вызвали сюда ко мне: это было бы невежливо. И я согласен рассматривать вас как их представителей, говорить с вами и дать вам возможность задавать вопросы мне. Но у меня к вам просьба. У вас есть магнитофоны. Прошу вас распорядиться, чтобы, прежде чем я начну говорить или отвечать на ваши вопросы, сюда был доставлен магнитофон. Я хочу быть уверенным в том, что послание, которое получат ваши руководители, будет передано им точно и полно.

— Превосходно,— сказал полковник и повернулся к пилоту: — Лейтенант, ступайте в кабину, включите радио и передайте, чтобы нам моментально доставили магнитофон. Можно на парашюте... Нет, пожалуй, долго провозятся с упаковкой. Пусть пришлют на «стремозе».

Лейтенант повернулся, готовый идти.

— Да,— сказал полковник,— и еще пятьдесят ярдов шнура.

Придется тянуть до таверны Мэнни.

Лейтенант сломя голову бросился к вертолету.

Остальные сидели, обливаясь потом, и ждали. Мэньюэл Кейси встал.

— Ждать придется с полчаса,— сказал он,— и если уж мы собираемся оставаться на солнце, кто за бутылку холодного пива? Как вы на это смотрите, мистер Гарвейн?

— Это ведь холодный напиток? Я немножко мерзну. Если у вас найдется что-нибудь горячее...

— Кофе, он уже почти готов. Могу я принести вам одеяло?

— Благодарю вас, не надо. В нем не будет нужды.

Кейси ушел и скоро вернулся с подносом, на котором стояло с пол-дюжины бутылок холодного пива и чашка дымящегося кофе. Лейтенант был уже здесь. Кейси поставил поднос и начал с того, что подал чашку человеку-жерди, который, сделав глоток, сказал:

— Восхитительно.

Полковник Кейси откашлялся.

— Теперь, Мэнни, обслужи нашего друга старателя. Что касается нас, то, вообще говоря, пить во время дежурства запрещено, но в Тусоне было 112 по Фаренгейту в тени, а тут еще жарче и к тому же никакой тени. Так что, джентльмены, считайте себя в официальном увольнении на время, которое вам понадобится, чтобы выпить бутылку пива, или до тех пор, пока нам не доставят магнитофон. То ли, другое ли случится первым — ваше увольнение закончено.

Сначала кончилось пиво, но, допивая его, они уже видели и слышали второй вертолет. Кейси спросил человека-жердь, не желает ли тот еще кофе. Человек-жердь вежливо отказался, Кейси посмотрел на Дэйда Гранта и подмигнул; старый крот ответил ему тем же, и Кейси пошел еще за бутылками, по одной на каждого из двоих штатских землян. Возвращаясь, он столкнулся с лейтенантом, который тянул шнур к та-верне, и Кейси повернул назад и проводил лейтенанта до самого входа, чтобы показать ему, где розетка.

Когда Кейси вернулся, он увидел, что второй вертолет, кроме магнитофона, доставил еще четырех человек — больше в нем не умещалось. Вместе с пилотом прилетели сержант технической службы (он уже возился с магнитофоном), а также подполковник и младший лейтенант, то ли решившие совершить воздушную прогулку, то ли заинтригованные странным приказом срочно доставить по воздуху магнитофон в Черрибелл, штат Аризона. Теперь они стояли и таращились на человека-жердь, перешептываясь между собой.

Хотя слово «внимание» полковник произнес негромко, сразу же наступила мертвая тишина.

— Рассаживайтесь, джентльмены. Так, чтобы был круг. Сержант, нас хорошо будет слышно в микрофон, если вы поместите его в центре такого круга?

— Да, сэр. У меня уже почти все готово.

Десять человек и чело-экоподобное существо из космоса сели в круг, в середине которого установили небольшой треножник с подвешенным к нему микрофоном. Люди обливались потом; человекоподобного слегка знобило. За кругом, понурив голову, стоял ослик. Постепенно поддвигаясь все ближе, но пока еще футах в пяти от круга, толпили-

лись все жители Черрибелла, оказавшиеся в тот момент дома; палатки и бензозаправочные станции были брошены.

Сержант нажал на кнопку; кассеты завертелись.

— Проверка... проверка... — сказал он. Нажав на кнопку «обратно», он через секунду отпустил ее и дал звук. «Проверка... проверка...» — сказал динамик громко и внятно. Сержант перемотал ленту, стер запись и дал «стоп».

— Когда я нажму на кнопку, сэр, — обратился он к полковнику, — начнется запись.

Полковник вопросительно посмотрел на человека-жердь, тот кивнул, и тогда полковник кивнул сержанту.

— Мое имя Гарвейн, — раздельно и медленно проговорил человек-жердь. — Я прибыл к вам с одной из планет звезды, не упоминаемой в ваших астрономических справочниках, хотя шаровое скопление из 90 000 звезд, к которому она принадлежит, вам известно. Отсюда она находится на расстоянии свыше 4000 световых лет по направлению к центру Галактики.

Однако сейчас я выступаю не как представитель своей планеты или своего народа, но как полномочный министр Галактического Союза, федерации передовых цивилизаций Галактики, созданной во имя всеобщего блага. На меня возложена миссия посетить вас и решить на месте, следует ли приглашать вас вступить в нашу федерацию.

Теперь вы можете задавать мне любые вопросы. Однако я оставляю за собой право отсрочить ответ на некоторые из них до тех пор, пока не приду к определенному решению. Если решение окажется положительным, я отвечу на все вопросы, включая те, ответ на которые был отложен. Вас это устраивает?

— Устраивает, — ответил полковник. — Как вы сюда попали? На космическом корабле?

— Совершенно верно. Он сейчас прямо над нами, на орбите радиусом в 22 000 миль, где вращается вместе с Землей и таким образом все время остается над одной и той же точкой. За мной наблюдают оттуда, и это одна из причин, почему я предпочитаю оставаться здесь, на открытом месте. Я должен просигнализировать, когда мне понадобится, чтобы корабль спустился и подобрал меня.

— Откуда у вас такое великолепное знание нашего языка? Благодаря телепатическим способностям?

— Нет, я не телепат. И нигде в Галактике нет расы, все представители которой были бы телепатически одаренными; но отдельные телепаты встречаются в любой из рас. Меня обучили вашему языку специально для этой миссии. Уже много столетий мы держим среди вас своих наблюдателей (говоря «мы», я, конечно, имею в виду Галактический Союз). Совершенно очевидно, что я, например, не мог бы сойти за землянина, но есть другие расы, которые могут. Кстати говоря, они не

замышляют против вас ничего дурного и не пытаются воздействовать на вас каким бы то ни было образом; они наблюдают — и это все.

— Что даст нам присоединение к вашему Союзу, если нас приглашают вступить в него и если мы такое приглашение примем?

— Прежде всего — краткосрочный курс обучения основным наукам, которые положат конец вашей склонности драться друг с другом и покончат с вашей агрессивностью. Когда ваши успехи удовлетворят нас и мы увидим, что оснований для опасений нет, вы получите средства передвижения в космосе и многие другие вещи — постепенно, по мере того, как будете их осваивать.

— А если нас не пригласят или мы откажемся?

— Ничего. Вас оставят одних; будут отзываны даже наши наблюдатели. Вы сами предопределите свою судьбу: либо в ближайшее столетие вы сделаете свою планету совершенно необитаемой, либо овладеете науками сами и тогда с вами опять можно будет говорить о вступлении в Союз. Время от времени мы будем проверять, как идут ваши дела, и, если станет ясно, что вы не собираетесь себя уничтожить, к вам обратятся снова.

— Раз вы уже здесь, к чему так спешить? Почему вы не можете пробыть у нас достаточно долго для того, чтобы наши, как вы их называете, руководители смогли лично поговорить с вами?

— Ответ откладывается. Не то чтобы причина спешки была важной, но она достаточно сложная, и я просто не хочу тратить время на объяснения.

— Допустим, что наше решение окажется положительным; как в таком случае установить с вами связь, чтобы сообщить вам о нем? По-видимому, вы достаточно информированы о нас и знаете, что я не уполномочен брать на себя такую ответственность.

— Мы узнаем о вашем решении через своих наблюдателей. Одно из условий приема в федерацию — опубликование в ваших газетах этого интервью полностью, так, как оно записывается сейчас на этой пленке. А потом все будет ясно из действий и решений вашего правительства.

— А как насчет других правительств? Ведь мы не можем единолично решать за весь мир.

— Для начала остановились на вашем правительстве. Если вы примете приглашение, мы укажем способы побудить других последовать вашему примеру. Кстати, способы эти не предполагают какого-либо применения силы или хотя бы угрозы такого.

— Хороши, должно быть, способы, — скривился полковник.

— Иногда обещание награды значит больше чем любая угроза. Вы думаете, другие захотят, чтобы ваша страна заселяла планеты далеких звезд еще до того, как они смогут достичь Луны? Но это вопрос сравнительно маловажный. Вы вполне можете положиться на наши способы убеждения.

— Звучит это прямо-таки сказочно прекрасно. Но вы говорили, что вам поручено решить сейчас, на месте, следует или нет приглашать нас вступить в вашу федерацию. Могу я спросить, на чем будет основываться ваше решение?

— Прежде всего я должен (точнее, был должен, так как я уже это сделал) установить степень вашей ксенофобии. В том широком смысле, в каком вы его употребляете, слово это означает страх перед чужаками вообще. У нас есть слово, не имеющее эквивалента в вашем языке; оно означает страх и отвращение, испытываемые перед физически отличными от нас существами. Я, как типичный представитель своей расы, был выбран для первого прямого контакта с вами. Поскольку я для вас более или менее человекоподобен (точно так же, как более или менее человекоподобны для меня вы), я, вероятно, вызываю в вас больший ужас и отвращение, чем многие совершенно отличные от вас виды. Будучи для вас карикатурой на человека, я внушаю вам больший ужас, нежели какое-нибудь существо, не имеющее с вами даже отдаленного сходства.

Возможно, вы сейчас думаете о том ужасе и отвращении, которые вы испытываете при виде меня. Но поверьте мне, это испытание вы прошли. Есть в Галактике расы, которым никогда не стать членами Федерации, как бы они ни преуспели в других областях, потому что они тяжело и неизлечимо ксенофобичны; они никогда не смогли бы смотреть на существа какого-либо другого вида или общаться с ним; они или с воплем бросились бы прочь от него или попытались бы тут же с ним расправиться. Наблюдая вас и этих людей, — он махнул длинной рукой в сторону гражданского населения Черрибелла, столпившегося неподалеку от круга сидящих, — я убеждаюсь в том, что мой вид вызывает в вас отвращение, но, поверьте мне, оно относительно слабое и, безусловно, излечимое. Это испытание вы прошли удовлетворительно.

— А есть и другие?

— Еще одно. Но, пожалуй, пора мне...

Из закончив фразы, человек-жердь навзничь упал на песок и закрыл глаза.

В один миг полковник был на ногах.

— Что за черт?! — вырвалось у него. Обойдя треножник с микрофоном, он склонился над неподвижным телом и приложил ухо к кроваво-красной груди.

Когда он выпрямился, лохматый седой старатель Дейд Грант смеялся.

— Сердце не бьется, полковник, потому что его нет. Но я могу оставить вам Гарвейна в качестве сувенира, и вы найдете в нем вещи куда более интересные, чем внутренности и сердце. Да, это марионетка, которой я управлял, как ваш Эдгар Берген<sup>1</sup> управляет своим... как же его зовут?.. ах да, Чарли Маккарти. Он выполнил свою задачу и деактивирован. Вернитесь на свое место, полковник.

<sup>1</sup> Эдгар Берген — американский комик и чревовещатель, ставший популярным благодаря своей знаменитой кукле Чарли Маккарти, а потом и другой, которую он называл Мортимером Спирдом. — Прим. перев.

Полковник Кейси медленно отступил назад.

— Для чего все это? — спросил он.

Дейд Грант сорвал с себя бороду и парик. Куском ткани он стер с лица грим и оказался красивым молодым человеком. Он продолжал:

— То, что он сказал вам (или, вернее, то, что вам было через него сказано), — все правда. Да, он только подобие, но он точная копия существа одной из разумных рас Галактики — расы, которая, по мнению наших психологов, показалась вам, будь вы тяжело и неизлечимо ксенофобичны, ужаснесь любой другой. Но подлинного представителя этого вида мы не привезли с собой потому, что у этих существ есть своя собственная фобия, агорафобия — боязнь пространства. Они высокочувствительны и пользуются большим уважением в федерации, но они никогда не покидают своей планеты.

Наши наблюдатели уверяют, что такой фобии у вас нет. Но им не вполне ясно, насколько велика ваша ксенофобичность, и единственным способом установить ее точную степень было привезти вместо кого-то что-то, на чем можно было бы ее испытать, и заодно, если это окажется возможным, установить с вами первый контакт.

Вздох полковника услышали все.

— По совести говоря, в одном смысле это приносит мне огромное облегчение. Мы, безусловно, в состоянии найти общий язык с человеко-подобными, и мы найдем его, когда в этом возникнет необходимость. Но, должен признаться, это большая радость — узнать, что все-таки господствующая раса Галактики настоящие люди, а не какие-то там человечкоподобные. Второе испытание?

— Вы уже ему подвергаетесь. Зовите меня... — он щелкнул пальца-ми. — Как зовут другую марионетку Бергена, которую он создал после Чарли Маккарти?

Полковник заколебался, но за него дал ответ сержант-техник:

— Мортимер Снерд.

— Правильно. Тогда зовите меня Мортимером Снердом. А теперь мне, пожалуй, пора... — И он повалился навзничь на песок и закрыл глаза точно так же, как за несколько минут до этого человек-жердь.

Ослик поднял голову и просунул ее в круг через плечо сержанта.

— С куклами всё, — сказал он. — Так что вы там говорили, полковник, будто господствующей расой должны быть люди или хотя бы человечкоподобные? И вообще, что такое господствующая раса?

\

Рэй БРЭДБЕРИ

## МЕССИЯ

— Мы все грезили об этом в молодости, — сказал епископ Келли. Остальные за столом забормотали одобрительно, закивали.

— Не было мальчика-христианина, который однажды ночью не

подумал бы: «А не я ли Он? Не Второе ли это Пришествие, наконец-то, и не я ли Пришедший? Что, что, о, что, Боже милостивый, если окажется, что я Иисус? Вот будет здорово!»

Католические священники, протестантские проповедники и один раввин негромко засмеялись, вспоминая каждый свое детство, свои безумные фантазии и какими невероятно глупыми были они тогда.

— А еврейские мальчики,— спросил молодой священник отец Нивен,— представляют себя, насколько я понимаю, Моисеем?

— Нет, нет, мой дорогой друг,— сказал рабби Ниттлер.— Мессией! Мессией!

Снова тихий смех, из всех уст.

— Ну, конечно,— сказал отец Нивен, чье свежее лицо было сливочно-розовым,— какую чушь я сморозил! Как же я не подумал? Ведь Христос не был для евреев мессией, не так ли? И ваш народ до сих пор ждет, чтобы мессия пришел. Странно. О, как все расходится!

— И ничто так, как это,— сказал епископ Келли.

И, встав, повел всех на террасу, откуда открывался вид на холмы Марса, на древние марсианские города, на старые шоссе, на русла рек, полные пыли, и на Землю, которая, в шестидесяти миллионах миль отсюда, ярким огоньком сияла в этом чужом небе.

— Разве могли мы в самых безумных своих мечтах вообразить,— сказал преподобный Смит,— что наступит день, когда здесь, на Марсе, будут Баптистский Молельный Дом, Капелла Святой Марии, Синагога Горы Синай?

Тихие «нет, не могли» были ответом на его вопрос.

Нарушив тишину, возник новый голос. Пока они стояли у балюстрады, отец Нивен, чтобы проверить часы, включил свой транзистор. Из маленького поселка неподалеку в пустыне передавали новости. Все стали слушать:

— ...как утверждают, недалеко от поселка. Это первый марсианин, обнаруженный в наших местах в нынешнем году. Убедительно просим относиться ко всем визитерам такого рода с уважением. Если же...

Отец Нивен выключил приемник.

— Ох уж эта неуловимая конгрегация! — вздохнул преподобный Смит.— Должен признаться, я прилетел на Марс не только ради христиан с Земли, но надеясь также пригласить хотя бы одного марсианина познакомиться со мной как-нибудь в воскресенье и узнать от него о его верованиях, нуждах.

— Они еще не решили, как к нам относиться,— сказал отец Липски.— Примерно через год, я думаю, они поймут, что мы не охотники на бизонов и шкуры нам не нужны. И все же, надо признаться, держать в уме свое любопытство нелегко. В конце концов, судя по фотографиям, полученным нами от наших «Маринеров», никаких форм жизни на

Марсе быть не должно. Но оказалось, что одна есть, непонятная и во многом сходная с человеком.

— Во многом, ваше преосвященство? — и раввин замер над своим кофе. — У меня чувство, что человеческого в них больше, чем в нас самих. Они ведь дали нам возможность здесь жить. Спрятались среди холмов, нам, как мы можем догадаться, показываются только изредка и в обличье землян...

— Значит, вы тоже верите, что они могут читать мысли телепатически и могут гипнотизировать, и это им позволяет разгуливать по нашим поселениям и дурачить нас своими обличьями и искусственно вызываемыми видениями, и мы их не можем разоблачить?

— Да, я в это верю.

— Тогда сегодняшний вечер, — сказал епископ, раздавая бокалы с мятным ликером и коньяком, — воистину вечер разочарований. Марсиане ни за что не хотят показаться и позволить нам, причастным истинной вере, указать им путь к спасению...

Все заулыбались.

— ...а второе пришествие Христа будет, судя по всему, не раньше чем через несколько тысяч лет. Как долго ждать нам, людям, о Господа?

— Что до меня, — сказал молодой отец Нивен, — то я никогда не мечтал о том, чтобы быть Христом, Его Вторым Пришествием. Я только всегда хотел, и хотел всем сердцем, его увидеть. С восьми лет не перестаю об этом мечтать. Вполне возможно, это главная причина, почему я стал священником.

— Чтобы, если Он и в самом деле придет когда-нибудь снова, о вас на небесах уже знали? — добродушно посмеиваясь, предположил рабби.

Молодой священник широко улыбнулся и кивнул. Каждому вдруг захотелось протянуть руку и к нему прикоснуться, ибо он прикоснулся к какому-то маленькому, нежному нерву в каждом из них. Каждого из них переполняла сейчас любовь ко всему существу.

— С вашего разрешения, джентльмены, — сказал, поднимая бокал епископ Келли, — выпьем — кто за пришествие мессии, кто за второе Пришествие Христа. Да окажется то и другое чем-то большим, нежели глупые, незапамятно древние мечты!

Выпив каждый свое, они притихли.

Епископ высморкался и вытер глаза.

Потом все было так, как в большинство других вечеров. Священнослужители уселись за карты и заспорили о святом Фоме Аквинском, но христиане понесли поражение, когда столкнулись с логикой и эрудицией рабби Ниттлера. Они назвали его иезуитом, выпили по стаканчику

на сон грядущий и, перед тем как разойтись, решили послушать последние новости по радио:

— ...опасаются, что марсианин, оказавшись среди нас, возможно, чувствует себя как бы пойманным в ловушку. Чтобы он мог безбоязненно пройти мимо, при встрече с ним следует отвернуться. Похоже, что движет им любопытство. Оснований для беспокойства нет. На этом передача...

Священнослужители уходили, обсуждая свои переводы на разные языки текстов из Нового и Ветхого заветов. И тут молодой отец Нивен всех удивил:

— А известно ли вам, что меня однажды попросили написать сценарий по евангелиям? Фильму, видите ли, не хватало конца!

— Но разве не один,— запротестовал епископ,— конец у жизни Иисуса?

— И все же четыре евангелия, ваше преосвященство, дают четыре версии. Я их все сравнил. И взволновался. Почему? Да потому, что заново открыл для себя нечто, о чем уже почти позабыл. Тайная вечера на самом деле не последняя совместная трапеза Христа и учеников!

— Боже милостивый, если не последняя, то какая же?

— Какая? Первая из нескольких, ваше преосвященство. Первая из нескольких! Разве не было такого, когда Иисуса уже сняли с креста и погребли, что Симон Петр ловил вместе с другими учениками рыбу в море Галилейском?

— Было.

— И не были разве их сети чудесным образом наполнены рыбой?

— Были.

— А когда они увидели на берегу Галилейском бледный свет, разве не сошли они на берег и не нашли там раскаленные добела угли, а на углях только что пойманную рыбу?

— Да, как же, да,— сказал преподобный Смит.

— И разве не почувствовали они там, за мягким светом раскаленных углей, Присутствие и не возвзвали к Нему?

— Возвзвали.

— Не получив ответа, не прошептал разве снова Симон Петр: «Кто это там?» И неизвестный Дух на берегу Галилейском протянул руку в свет от углей, и на ладони той руки разве не увидели они след от вбитого гвоздя, стигматы, которые никогда не залечатся? Ученики хотели убежать, но Дух сказал Симону Петру: «Возьми эту рыбу и накорми своих братьев». И Симон Петр взял с углей рыбу и накормил учеников. И бесстесненный Дух Иисуса сказал тогда: «Возьми мое слово и возвести всем народам, и проповедуй, чтобы прощали ближнего». А потом Иисус их покинул. И в моем сценарии Он уходит по берегу Галилейскому к горизонту. А когда кто-нибудь уходит к горизонту, то будто поднимается, правда? Потому что поднимается на расстоянии земля. И Он, идя по берегу, уменьшался и наконец превратился в маленькую точку

где-то вдали. А потом и она исчезла. И когда над миром Его дней встало солнце, всю тысячу Его следов вдоль берега размели рассветные ветры, и следов как не бывало... И угли, дорогая, разлетелись искрами, и ученики, ощущая во рту вкус Настоящей, Последней и Истинной Тайной Вечери, пошли прочь. И в моем сценарии КАМЕРА смотрит с высоты, как ученики уходят одни на север, другие на юг, третья на восток рассказывать миру То. Что Должно Быть Рассказано о Некоем Человеке. И их следы, расходящиеся во все стороны спицами огромного колеса, тоже замели песком ветры восхода. И был новый день. КОНЕЦ.

Молодой отец Нивен стоял, окруженный друзьями, глаза его были закрыты, щеки пылали. Внезапно он открыл глаза, как будто очнувшись:

— Простите меня.

— За что простить? — воскликнул епископ, проводя по ресницам тыльной стороной ладони, часто моргая. — За то, что в один вечер я два раза плакал? Разве можно стесняться своей любви к Христу? Да ведь вы же вернули Слово мне — мне! — который, казалось, знает его уже тысячу лет! Вы освежили мне душу, о добрый молодой человек с детским сердцем. Вкусение рыбы на берегу Галилейском — это и вправду истинная Тайная Вечеря. Браво! Вы заслужили встречи с Ним. Второе Присшествие должно произойти хотя бы ради вас одного!

— Я недостоин!

— Как и мы все! Но если бы можно было меняться душами, я бы сию же минуту, пусть на время, поменял бы свою на вашу, светлую, чистую. Может быть, еще один тост, джентльмены? За отца Нивена!

Все выпили за отца Нивена и потом разошлись; раввин и проповедники пошли вниз с холма к своим храмам, а католические священники постояли еще минутку у открытой двери, разглядывая незнакомый мир Марса, обдуваемый холодным ветром.

Наступила полночь, потом один час, два, а в три часа бездонного холодного марсианского утра отец Нивен заворочался. Невнятно шепча, заплясало пламя свечей. Прижалвшись к окну, глухо застучали листья.

Внезапно очнувшись от сновидения, где кричала толпа и кто-то за кем-то гнался, он рывком сел в постели. Прислушался.

На нижнем этаже хлопнула наружная дверь.

Накинув халат, отец Нивен спустился по полутемной лестнице своего прицерковного жилища и прошел через церковь, где вокруг каждой из дюжины свечей, горевших одна здесь, другая там, разлилась маленькая лужица света.

Обходя одну за другой двери, он думал: «Какая это глупость, запирать церкви! Что в них «карье»?» Но все-таки шел дальше, крадучись, сквозь спящую ночь.

И вдруг увидел, что передняя дверь церкви отпerta и ветер, мягко толкая, то и дело приоткрывает ее внутрь.

Поеживаясь от холода, отец Нивен закрыл ее.

В церкви кто-то пробежал на цыпочках.

Отец Нивен молниеносно повернулся.

В церкви никого не было. То в одну, то в другую сторону покачивались огоньки свечей в нишах. Ничего, кроме древнего запаха воска и ладана, непроданных их остатков со всех базаров времени и истории, других солнц и других полудней.

Он окинул взглядом распятие над главным алтарем и вдруг замер.

Он услышал в ночи, как упала капля воды, одна-единственная.

Медленно-медленно отец Нивен повернул голову и посмотрел в сторону баптистерия.

Свечей там не было, и однако...

Из глубокой ниши, где стояла купель, исходил бледный свет.

— Епископ Келли, это вы? — тихо спросил отец Нивен.

Он медленно пошел туда по проходу, но вдруг остановился, будто его сковал мороз...

Потому что еще одна капля упала, ударила, перестала существовать.

Как если бы где-то капало из крана. Но ведь никаких кранов здесь не было. Не было ничего, кроме купели, куда капля за каплей падала густая жидкость, и между каждыми двумя каплями сердце отца Нивена успевало ударить три раза,

Недоступным слуху языком сердце что-то себе сказало и понеслось во весь опор, потом замедлило ход, и отцу Нивену почудилось, что оно вот-вот остановится. Он покрылся потом. Почувствовал, что не сможет сдвинуться с места, но двигаться было нужно; сначала одна нога, за ней другая — и вот наконец он добрался до сводчатого входа в баптистерий.

И правда, в этой комнатке, в которой должен был царить мрак, что-то бледно светилось.

Не свеча, нет. Источником света была фигура.

Фигура стояла за купелью. Капли больше не падали.

Язык у отца Нивена прилип к небу, глаза полезли на лоб и перестали что-либо видеть. Потом зрение вернулось, и он набрался духу крикнуть:

— Кто?

Одно-единственное слово — и оно эхом отдалось во всех закоулках церкви, от него задрожали огоньки свечей, поднялась пахнущая ладонью пыль, и собственное сердце отца Нивена испугалось отзыва: «Кто?»

Свет в баптистерии исходил от бледного одеяния фигуры, стоявшей лицом к отцу Нивену. И этого света было достаточно, чтобы отец Нивен смог увидеть невероятное.

Отец Нивен смотрел во все глаза, и вдруг фигура шевельнулась. Она протянула вперед, будто положив ее на воздух, бледную руку.

Рука лежала как что-то отдельное от Духа по ту сторону купели; будто она противилась, но зачарованный и страшный взгляд отца Нивена схватил ее и потащил к себе, ближе, чтобы узнать, что в середине ее открытой белой ладони.

А в середине была видна рана с рваными краями, отверстие, из которого медленно, одна за другой падали капли крови, падали и падали медленно вниз, в купель.

Капли ударялись о святую воду, окрашивали ее и расходились медленными кругами во все стороны.

Рука то появлялась, то исчезала перед глазами отца Нивена, и длилось это несколько исполненных растерянности секунд.

Задохнувшись в стоне то ли изумления, то ли отчаяния, одной рукой прикрывая глаза, а другой словно отстраняя от себя видение, отец Нивен, будто пораженный страшным ударом, рухнул на колени.

— Нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть!

Словно какой-то страшный дантист одним рывком и без анестезии вытащил у него вместо зуба сочавшуюся кровью душу. Он был вскрыт, жизнь из него вырвана, а корни, о боже, корни...так глубоки!

— Нет, нет, нет, нет!

И однако — да.

Он взглянул сквозь кружево пальцев снова.

И Человек был на том же месте.

И страшная кровоточащая ладонь дрожала, роняя капли в воздух баптистерия.

— Не надо больше!

Рука отдалилась, исчезла. Дух стоял и ждал.

И лицо Духа было доброе и знакомое. Эти странные, прекрасные, глубокие, пронизывающие насквозь глаза были такими, какими, он знал, они должны были быть. Рот был мягок, и бледно было лицо в обрамлении ниспадающих волос и бороды. Облачен Человек был в простые одеяды, видевшие берега моря Галилейского и пустыню.

Огромным усилием воли отец Нивен удержался от слез, подавил муки удивления, сомнений, растерянности, всего того, что, грозя вырваться наружу, ворочалось и бунтовало внутри. Его била дрожь.

И тут он увидел, что Фигура, Дух, Человек, Кто Бы Это Ни Был, дрожит тоже.

«Нет, — подумал отец Нивен, — с Ним такого быть не может! Чтобы Он боялся? Боялся... меня?»

А теперь и Дух сотрясся в страшных муках, они были как зеркальное отражение сотрясенной отца Нивена; рот видения широко открылся, глаза закрылись, и оно простонало жалобно:

— Умоляю, отпусти меня!

Отец Нивен ойкнул, и его глаза открылись еще шире. «Но ведь ты свободен, — подумал он. — Никто тебя здесь не держит!»

И в тот же миг:

— Держит! — воскликнуло Видение.— Меня держишь ты! Умоляю! Отврати свой взгляд! Чем больше ты смотришь на меня, тем больше я становлюсь этим! Я не то, чем я кажусь!

«Но,— подумал отец Нивен,— ведь я не сказал ни слова! Мои губы не шевельнулись ни разу! Откуда этот Дух знает, о чем я думаю?

— Я знаю все твои мысли,— сказало Видение, дрожащее, бледное, отодвигаясь в темноту баптистерия.— Каждую фразу, каждое слово. Я не собирался сюда приходить. Решил просто заглянуть в городок. И вдруг оказался разным для разных людей. Побежал. Люди погнались за мной. Я увидел открытую дверь. Вбежал. А потом, потом... оказалось, что я в ловушке.

«Это неправда»,— подумал отец Нивен.

— Нет, правда,— простонал Дух.— И поймал меня в эту ловушку ты.

Стеная под бременем услышанного, еще более страшным, отец Нивен ухватился руками за край купели и медленно встал, покачиваясь, на ноги. И наконец, набравшись духу, выдавил из себя вопрос:

— На самом деле ты не тот... кого я вижу?

— Не тот. Прости меня.

«Я,— подумал отец Нивен,— скажу с ума».

— Не сходи,— сказал Дух,— иначе я тоже стану безумным.

— Я не могу отказаться от Тебя, о Боже, теперь, когда Ты здесь, ведь столько лет ждал я, столько мечтал — неужели Ты не понимаешь, Ты просишь слишком много. Две тысячи лет бесчисленные множества людей дожидаются Твоего возвращения. И это я, я встретился с Тобой, увидел Тебя...

— Ты встретился лишь со своей мечтой. Увидел то, что увидеть ждал. За этим... — фигура дотронулась до своего одеяния,— совсем другое существо.

— Что мне делать, Боже? — закричал отец Нивен; взгляд его метался между потолком и Духом, задрожавшим от его крика.— Что?

— Отведи от меня взгляд. В то же мгновенье я окажусь за дверью и исчезну.

— И... это все?

— Очень прошу тебя,— сказал Человек.

Отца Нивена затрясло, дыхание его стало прерывистым.

— О, если б это продлилось хотя бы час!

— Ты бы хотел убить меня?

— О нет!

— Если ты будешь удерживать меня в этом облике, я скоро умру и моя смерть будет на твоей совести.

Отец Нивен поднес ко рту сжатые в кулак пальцы и впился в них зубами; судорога тоски свела все его кости.

— Значит.. значит, ты марсианин?

— Не более того. Не менее.

— И это случилось с тобой из-за моих мыслей?

— Ты не нарочно. Когда ты вошел сюда, твоя давнишняя мечта схватила меня крепко-крепко и придала мне новый облик. Мои ладони до сих пор кровоточат от ран, которые ты нанес мне из потаенных глубин твоей души.

Отец Нивен потряс головой, он был как в тумане.

— Еще хоть немножко... подожди...

Он смотрел неотрывно и не мог наглядеться на фигуру, от которой исходил бледный свет.

Потом отец Нивен кивнул, и такая печаль переполняла его, будто меньше часа назад вернулся он к себе с настоящей Голгофы. Но вот уже прошел час. И на песке у моря Галилейского гасли угли.

— Если... если я отпущу тебя...

— Ты должен, обязательно должен!

— Если отпушу, обещаешь...

— Что?

— Обещаешь снова прийти?

— Прийти?

— Раз в год, о большем я не прошу, раз в год приходи сюда, к этой купели, в это же самое время...

— Приходить?

— Обещай! О, мне обязательно нужно, чтобы это повторилось. Ты не знаешь, как это для меня важно! Обещай, иначе я не отпущу тебя!

— Я...

— Дай обещание! Поклянись!

— Обещаю. Клянусь.

— Благодарю тебя, благодарю!

— В какой день через год я должен буду вернуться?

По щекам отца Нивена катились слезы. Только с большим трудом вспомнил он, что собирался сказать, а когда заговорил, то с трудом мог себя расслышать:

— На Пасху, о Боже, да, на Пасху в следующем году!

— Очень прошу тебя, не плачь. Я приду. На Пасху, ты говоришь, на Пасху? Я знаю ваш календарь. Приду обязательно. А теперь... — Бледная рука с раной на ладони шевельнулась в воздухе, умоляя безмолвно. — Я могу уйти?

Отец Нивен сцепил зубы, чтобы не дать вырваться наружу воплю отчаяния.

— Благослови меня и иди, — сказал он.

— Вот так? — спросил голос.

И рука протянулась и коснулась его, легко-легко.

— Скорей! — крикнул отец Нивен, зажмурившись, изо всех сил прижимая к груди скатые в кулаки руки, чтобы они не протянулись, не схватили. — Уходи скорей, пока я не оставил тебя здесь навсегда. Беги. Беги!

Бледная рука коснулась его лба. Тихий и глухой звук убегающих босых ног.

Отворилась дверь, открыв звезды, потом захлопнулась.

И эхо долгоносилось по церкви, ударяясь об алтари, залетая в ниши, будто металась бесстолково, пока не нашла выход в вершине свода какая-то заблудившаяся одинокая птица. Наконец церковь перестала дрожать, и отец Нивен положил руки себе на грудь, словно говоря себе этим, как вести себя, как дышать, как стоять неподвижно, прямо, как успокоиться...

Потом он побрел неверными шагами к двери и схватился за ручку, обуреваемый желанием распахнуть ее, посмотреть на дорогу, на которую сейчас, наверно, никого уже нет — только вдалеке, быть может, убегает фигурка в белом. Он так и не открыл дверь.

Отец Нивен пошел по церкви, заканчивая ритуал запирания, радуясь, что есть дела, которые нужно сделать. Обход дверей длился долго. И долго было ждать следующей Пасхи.

Он остановился у купели и увидел, что вода в ней чистая. Зачерпнул рукой и освежил лоб, виски, щеки и глаза.

Потом прошел медленными шагами по главному проходу и упал ниц перед алтарем и, дав себе волю, разрыдался. Услышал, как голос его горя поднимается ввысь и из башни, где безмолвствует колокол, падает в муках вниз.

А рыдал он о многом.

О себе.

О Человеке, что был здесь совсем недавно.

О долгом времени, которое пройдет, прежде чем снова откатят камень и увидят, что могила пуста.

О времени, когда Симон Петр снова увидит здесь Духа, и он, отец Нивен, будет Симоном Петром.

А больше всего рыдал он потому, о, потому, потому... что никогда в жизни он не сможет никому рассказать об этой ночи...

*Кордвейнер СМИТ*

## НЭНСИ

Перешагнув порог кабинета, Гордон Грин увидел там двух глядящих на него мужчин. Молодого адъютанта можно было не заметить. Не заметить генерала было нельзя. Генерал сидел там, где ему и надлежало сидеть: за своим письменным столом. И хотя стол, словно утверждая свое главенство, стоял в середине кабинета, невозможно было не обратить внимания на деликатность генерала: шторы были наполовину за-

дернуты, чтобы в глаза тому, кто к нему пришел, не был солнечный свет.

Генерала (точнее, генерал-полковника) звали Венцель Валленстайн, и он был первый человек, рискнувший отправиться в дальний космос. Ни до одной звезды долететь ему не удалось, как и никому другому в те времена, однако побывал он дальше, чем любой до него.

Валленстайн выглядел стариком, хотя лет ему было не так уж много, меньше девяноста, а в те времена многие люди доживали уже до ста пятидесяти. Состарила Валленстайна непрерывная напряженная работа мысли — именно она, а не страх, не соперничество и не болезни.

Состарившее его страдание было более тонким: оно родилось из обостренной чувствительности.

Отчего оно вовсе не переставало быть подлинным.

При этом Валленстайн оставался абсолютно уравновешенным, и молодой лейтенант Грин не без удивления обнаружил, что сейчас, в первую свою встречу с главой организации, уже испытывает к тому безоговорочную симпатию.

— Ваше имя?

— Гордон Грин, — ответил лейтенант.

— С самого рождения?

— Нет, сэр.

— А какое было?

— Джордано Верди.

— Почему переменили? Верди тоже великолепная фамилия.

— Другим было трудно ее произносить, вот и все, сэр. Из-за этого я и решил сменить.

— Я свое имя сохранил, — сказал старый генерал. — Но это дело вкуса, наверно.

Молодой лейтенант поднял левую руку, ладонью наружу, в новом варианте военного приветствия, совсем недавно изобретенном психологами. Это означало, что младший по званию просит у старшего разрешения говорить не по уставу, неформально. Хотя лейтенант это сделал, он вовсе не был уверен, что поступает правильно.

Однако генерал мгновенно ответил тем же — поднял левую руку ладонью наружу.

Лицо генерала, тяжелое, усталое, умное, напряженное, оставалось прежним. Он был весь внимание. Глаза смотрели на лейтенанта с обычным дружелюбием. Было ясно: если глаза генерала и пытаются что-то скрыть, то лишь обременяющие его заботы, которым не видно было конца.

Лейтенант заговорил снова, теперь увереннее:

— Это что, собеседование, генерал? У вас для меня какое-то задание? Если да, сэр, то я обязан предупредить вас: меня признали эмоционально неустойчивым. Отдел кадров ошибается не часто, но, может, все-таки к вам они меня направили по ошибке?

Генерал улыбнулся. Улыбка тоже была его обычна: ей управляло сознание, а не только чувства.

— Вы узнаете, зачем я вас вызвал, лейтенант, после того, как мы с вами поговорим. Я сейчас приглашу еще одного человека, и тогда вы получите какое-то представление о вашем возможном будущем. Вы просились в дальний космос и считайте, что я отправить вас туда согласен. Вопрос теперь в одном: вы хотите этого на самом деле? Готовы к этому? Очевидно, именно в связи с этим вы просили о неформальном разговоре?

— Да, сэр.

— Напрасно, с таким вопросом вы могли ко мне обратиться даже в рамках устава. Но давайте не будем влезать слишком глубоко в психологические дебри. Ведь в этом и необходимости нет, правда?

И генерал опять одарил лейтенанта своей тяжелой улыбкой. Потом повернул голову к адъютанту, и тот стал по стойке «смирно».

— Зовите его, — сказал Валленстайн.

— Есть, сэр, — ответил ему адъютант.

Генерал и Гордон Грин остались ждать. Почти тут же быстрым, энергичным, веселым шагом в комнату вошел странный лейтенант.

Никого похожего на этого лейтенанта Гордон Грин никогда не видел. Лейтенант был стар, почти так же стар, как генерал, но при этом на лице у него не было ни одной морщинки, ни малейшего намека на напряжение — лицо дышало довольством и оптимизмом. На груди у вошедшего красовались три высшие награды Космической Службы, и, однако, он, уже старик, до сих пор почему-то оставался лейтенантом.

Почему, было непонятно. Человека этого лейтенант Грин видел впервые. Естественно встретить молодого лейтенанта, но уж никак не такого, которому за семьдесят или восемьдесят. К этому возрасту или уже были полковниками, или в отставке, или служили в каком-нибудь другом месте.

Космос был для молодых.

Увидев своего ровесника, генерал встал. От удивления глаза лейтенанта широко открылись: уж очень это было странно. Он никогда не слышал, чтобы командующий был склонен пренебрегать субординацией.

— Садитесь, сэр, — сказал странный немолодой лейтенант.

Генерал сел.

— Что вам теперь от меня нужно? — спросил старый лейтенант. — Чтобы я опять рассказал про Нэнси?

— Про Нэнси? — растерянно повторил за ним генерал.

— Ну да, сэр. Историю, которую я рассказываю юнцам. Уж вы-то не раз ее слышали, давайте не будем притворяться, будто это не так. И, повернувшись к Гордону, странный лейтенант сказал:

— Мое имя Карл Вондерлейен. Вы обо мне слышали?

— Нет, сэр, — ответил молодой лейтенант.

— Так услышите,— сказал старый лейтенант.

— Не злись, Карл,— заговорил генерал.— Не одному тебе пришлось худо, многим другим тоже. Я побывал там же, где и ты, и я генерал. Ты бы хоть из вежливости мне позавидовал.

— А я не завидую тебе, хоть ты и генерал. Ты прожил свою жизнь, я — свою. Ты знаешь, что ты потерял, или думаешь, что знаешь, а я знаю, что я приобрел, знаю абсолютно точно.

После этого старый лейтенант перестал обращать внимание на командующего. Он повернулся к Гордону Грину и, обращаясь к нему, заговорил:

— Вы собираетесь в дальний космос, поэтому мы с генералом разыгрываем пьеску, небольшой водевильчик. У генерала Нэнси не было. Он решил обойтись без нее. За помощью не обратился. Полетел в верходаль — и справился. Его хватило на все три года. Три года, равные трем миллионам лет. Побывал в преисподней — и вернулся. Посмотрите на его лицо. Он воплощение удачи, самое что ни на есть, черт его побери — и сидит вымотанный, усталый и, похоже, обделенный. А теперь посмотрите на меня, лейтенант. Я — воплощение неудачи. Я так и остался лейтенантом, Космическая Служба не повышает меня в звании.

Генерал молчал и Вондерлейен заговорил снова:

— О, в отставку, когда придет время, меня, я думаю, проводят как генерала. Но уходить в отставку я еще не хочу. Никаких оснований переходить куда-нибудь из Космической Службы не вижу. Что мне было нужно, я имел.

— А что вы имели, сэр? — спросил, набравшись смелости, лейтенант Грин.

— Нэнси. А у него ее не было,— ответил немолодой лейтенант.— Вот и вся разница.

— Не так все плохо и не так все просто, лейтенант Грин,— вмешался в разговор генерал.— Похоже, сегодня лейтенант Вондерлейен не в духе. А ведь мы с ним должны вам кое-что рассказать, но как поступить, решать придется вам самому, — и генерал посмотрел на молодого лейтенанта пронизывающим взглядом.— Вам известно, что мы сделали с вашим мозгом?

— Нет, сэр.

— Вы слышали о вирусе «сокта»?

— О чём, сэр?

— О вирусе «сокта». «Сокта» — слово из существовавшего в древности языка, корейского; на языке этом говорили в стране западнее того места, где была Япония. Слово это означает «может быть», и именно «может быть» мы вложили вам в мозг. Это совсем крохотный кристаллик, его увидишь только под микроскопом. На корабле есть устройство, которое, если пустить его в ход, путем резонанса детонирует вирус. Если вы вирус детонируете, вы станете таким, как лейтенант Вондерлейен.

Если не детонируете, то станете таким, как я — исходя, разумеется, из того, что в обоих случаях вы останетесь в живых. Конечно, может случиться, что вы не вернетесь, и тогда то, о чем мы говорим, представит лишь теоретический интерес.

Собравшись с духом, лейтенант Грин спросил:

— Как детонация вируса на мне скажется? Почему вы считаете, что вирус этот для меня так важен?

— Подробнее рассказать вам об этом мы не можем. Причины разные, одна из них — в том, что подробности здесь даже не заслуживают того, чтобы о них говорили.

— То есть... вы вправду не можете сказать, сэр?

Грустно и устало генерал покачал головой.

— Не могу. Я это упустил, он это имел, и, однако, говорить об этом почему-то невозможно.

*Когда, через много лет, двоюродный брат это мне рассказывал, я спросил его:*

— Но что же это получается, Гордон? Они утверждали, что говорить об этом невозможно, а ты запросто мне об этом рассказываешь.

— Спьяна, человече, спьяна, — ответил мне двоюродный брат. — Думаешь, легко мне было подвигнуть себя на этот разговор? Больше я не расскажу этого никому и никому. А потом, ты мой двоюродный брат, ты не в счет. И самой Нэнси я обещал, что никому не буду о ней рассказывать.

— Кто такая эта Нэнси? — спросил я его.

— В ней все дело, — ответил он. — Она здесь главное. Как раз это и пытались вбить мне в башку самодовольные старики в том кабинете, такие жалкие и глупые. И ничего они не понимали. Ни тот, кому довелось узнать Нэнси, ни тот, которому не довелось.

— Эта Нэнси, она существует на самом деле?

И тогда он рассказал мне эту историю до конца.

Они говорили с ним о нем жестко. Говорили откровенно, напрямик. Выбор был сформулирован предельно ясно. Валленстайн не скрывал: он хочет, чтобы Грин вернулся живым. Это была линия, которой неукоснительно следовало руководство Космической Службы: пусть лучшие космонавт вернется не справившимся, но живым, чем героем, но мертвым. Не так уж много было космонавтов, способных пролагать пути в дальнем космосе. К тому же если бы люди считали, что полет в дальний космос равнозначен самоубийству, это неизбежно деморализовало бы личный состав Службы.

Занимались только его психологией, и в конце концов Грин совсем растерялся.

Снова и снова генерал весело, старый лейтенант грустно вдалбливали ему, что все это очень серьезно.

Сам же лейтенант Грин не мог понять, почему ему симпатичен генерал и абсолютно безразличен старый лейтенант. Ведь, казалось бы, существовать он должен был как раз второму.

Только через полтора миллиарда миль, через четыре месяца по земному времени, через четыре жизни, если мерить тем, что он за это время пережил, Грин понял, о чем те двое тогда ему говорили. Они говорили о давно известной психологам истине: одиночество человеку противопоказано. При конструировании кораблей для дальних полетов это учитывалось. На каждом летели двое. На каждом был большой запас магнитозаписей и по нескольку животных, хотя никакой необходимости держать животных на корабле не было; в его случае это оказалась пара хомяков. Чтобы не возникло проблемы с кормлением детенышей, хомяков, разумеется, стерилизовали, но тем не менее их маленькое семейство демонстрировало в миниатюре счастье жизни, как его понимают на Земле.

Теперь Земля была очень далеко.

И тут умер напарник лейтенанта Грина.

И тогда опасности, до этого маячившие смутно где-то на заднем плане, приблизились и встали перед Грином во весь свой рост.

Тут-то и понял он, что именно пытались ему втолковать генерал и старый лейтенант.

Все его помыслы сосредоточились теперь вокруг хомяков. Он прижимался лицом к их клетке и разговаривал с ними. Был уверен, что понимает их настроения. Пытался жить их интересами, словно это были люди.

Словно сам он по-прежнему был среди людей, был их живой частичкой, а не находился здесь, в пустоте, где за тонкой стенкой из металла выло безмолвие.

Он перестал ощущать время. Знал, что теряет рассудок, и знал также, что полученная им подготовка, если он потеряет рассудок не целиком, поможет ему выжить. Он теперь понял даже, что оборотной стороной обнаруженной у него эмоциональной неустойчивости, побуждавшей его сомневаться в своей пригодности для Космической Службы, является, по-видимому, способность верить и надеяться, которая считалась абсолютно необходимой для космонавта и терять которую он начал только теперь.

Снова и снова возвращался он мысленно к короткому разговору о Нэнси и вирусе «сокта».

Что же такое они ему сказали?..

Сказали, что он может позвать какую-то Нэнси. По совести говоря, Нэнси вовсе не его любимое женское имя. Но это неважно, вирус всегда срабатывает. Нужно только стать в определенном месте салона таким образом, чтобы голова была на определенном расстоянии от пола и от стены, нажать на стене только раз кнопку резонатора — и он не выполнит задания, зато обретет счастье и вернется домой живым.

Такое не укладывалось в голове. Что за странный выбор?  
Сделал он это несколько позже.

Прошло, как ему показалось, три тысячи лет, прежде чем он, готовясь к этому, продиктовал в бортовой журнал свой последний рапорт Космической Службе. Он не знал, что произойдет. Неоспоримо было, что старый лейтенант, Вондерлейен, или как там его зовут, жив до сих пор. Но жив и генерал. Генерал спрятался. Лейтенант — нет.

А теперь этот выбор предстояло, в полутора миллиардах миль от Земли, сделать ему, Гордону Грину. И он его сделал. Он решил стать несправившимся.

Но нарушение дисциплины, которое он теперь намерен был совершить, его совсем не радовало, и он чувствовал себя обязанным продиктовать в бортовой журнал, чтобы оправдаться перед людьми, короткое к ним обращение:

«...вот почему, джентльмены, я принял решение нажать кнопку резонатора. Мне неизвестно, что означает содержавшееся в той беседе упоминание о Нэнси. Я понятия не имею, как подействует вирус «сокта» — знаю только, что благодаря ему не смогу выполнить данное мне задание. Это вызывает во мне стыд. Я сожалею о свойственной человеку слабости, побуждающей меня так поступить. Вы, джентльмены, и сами допускали возможность того, что я вынужден буду ей поддаться. В этом смысле за то, что я не выполнил задания, отвечаю не я, а Космическая Служба, давшая мне право его не выполнить. Джентльмены, простите мне горечь и обиду, окрашивающие в эти мгновения мое прощание с вами, но тем не менее я с вами прощаюсь».

Он перестал диктовать, поморгал глазами, посмотрел на хомяков (в кого они, интересно, превратятся, когда вирус «сокта» начнет действовать?) и нажал кнопку.

Ничего не произошло. Он нажал кнопку снова.

Внезапно корабль наполнился странным запахом. Что это за запах? Он этого запаха не знал.

И вдруг он понял, что пахнет свежескошенным сеном, и слегка геранью, и, может быть, чуть-чуть розами. Так пахло на ферме, где за несколько лет до этого он провел три летних месяца. Запах напомнил ему о матери, когда та выходила на крыльцо и звала его завтракать или обедать, и о нем самом, в достаточной мере мужчине, чтобы быть снисходительным к женщине в собственной матери, и в достаточной мере ребенке, чтобы обернуться радостно на знакомый голос.

Он подумал: «Если действие вируса выражается только в этом, я и дальше смогу работать не хуже, чем прежде».

И еще подумал: «В полутора миллиардах миль от Земли, когда, кроме двух хомяков, некому скрасить мне годы одиночества, несколько галлюцинаций мне не повредят».

Дверь открылась.

Открыться она не могла.

Тем не менее она открылась.

Грина охватил страх, какого он не испытывал никогда в жизни. Не отрывая взгляда от открывшейся двери, он повторял про себя: «Я спятил, спятил».

Вошла девушка. Она сказала:

— А, это ты? Привет! Надеюсь ты меня узнал?

— Нет-нет, мисс, я вас не знаю, кто вы такая?

Девушка не ответила. Она только, оставаясь на месте, улыбнулась.

На ней была расклешенная синяя саржевая юбка на корсаже, пояс из той же ткани, простенькая блузка. В девушке не чувствовалось ничего странного, и она безусловно не была существом из космоса.

Он знал ее, знал хорошо. Возможно, любил. Просто он не мог сейчас вспомнить, кто она.

Она на него смотрела. И только.

Он сразу догадался. Все стало на свои места. Конечно, это и есть Нэнси. Не просто Нэнси, о которой они тогда говорили, а его Нэнси, его собственная, которую он всегда знал, но впервые встретил сейчас.

Он собрался с духом и ей сказал:

— Я не знаю тебя, но откуда-то все-таки тебя знаю. Ты Нэнси, и я знал тебя всю жизнь и всегда хотел на тебе жениться. Я в тебя всегда был влюблена, а ведь я никогда до этого тебя не видел. Это странно, Нэнси. Невероятно странно. Мне это непонятно, а тебе?

Нэнси подошла и приложила руку к его лбу. Это была настоящая маленькая ручка, и неописуемо приятно было общество Нэнси, ничего приятней он не мог бы себе представить. Она сказала:

— В этом надо разобраться. Видишь ли, меня нет, нет ни для кого, кроме тебя. И для тебя ничто и никогда не будет более реальным, чем я. Вот что такое вирус «сокта», дорогой. Это я. А я — это ты.

Он смотрел на нее не отрывая глаз.

Если еще недавно он чувствовал себя несчастным, то теперь это прошло, он был так рад, что она появилась! Он сказал:

— Как это понимать? Что тебя создал вирус «сокта»? Может быть, я сошел с ума и это всего лишь галлюцинация?

Нэнси покачала головой отрицательно, и ее красивые кудри, растрепавшись, стали еще пышнее.

— Нет, дело совсем не в этом. Просто я все девушки, которых ты желал в своей жизни. Я иллюзия, к которой ты всегда стремился, но я — это ты, потому что появилась я из твоих глубин. Я все, что тебе не удалось найти в жизни. Все, о чем ты боялся даже мечтать. Я появилась и здесь останусь. И в корабле этом мы будем жить душа в душу.

*Тут мой двоюродный брат разрыдался. Взял оплетенную бутылку густого красного вина, испанского или итальянского, и налил себе большой стакан. Неко-*

точное время он плакал. Потом, положив голову на стол, он посмотрел на меня и сказал:

— Мы были с ней вместе в корабле очень долго, и я до сих пор помню, как она разговаривала со мной. И я понимаю теперь, почему считают, что говорить об этом не следует. Надо быть жутко пьяным, чтобы рассказать другим о жизни, которую ты прожил, счастливой жизни, прекрасной, и дать всему этому от тебя утечку, правда?

— Что верно, то верно, — поддакнул я.

Нэнси сразу же все на корабле изменила. Переставила клетку с хомяками на другое место. Поменяла в салоне украшения. Проверила записи в бортовом журнале. Работа, казалось Гордону Грину, шла продуктивнее, чем когда-либо до этого.

Но не это было главное, а замечательный домашний очаг, который они создали для себя. В корабле пахло только что испеченным хлебом, и пахло свежестью, а иногда он слышал, как идет дождь, хотя ближайший дождь мог идти лишь в миллиарде шестистах миллионах миль от корабля, и лишь холодное безмолвие царапало снаружи холодный металл обшивки.

Очень скоро они привыкли друг к другу.

Были вещи, нарушить которые он не мог — такое он получил воспоминание.

И наступило время, когда Гордон Грин сказал:

— Я не могу просто так взять и овладеть тобой, дорогая. Это было бы нехорошо даже здесь, в космосе, и нехорошо даже если ты не настоящая. Для меня ты все равно настоящая. Ты согласна, чтобы мы обвенчались, как полагается, по молитвеннику?

Глаза ее засияли, а губы сверкнули улыбкой, которой улыбалась только она. Нэнси ответила:

— Конечно.

Она обняла его и повисла у него на шее. Он провел пальцами по ее плечу. Ощущил ее ребра. Ощущил у себя на щеках пряди ее волос. Все было настоящее. Более настоящего не могло быть — и какой-то дурак сказал, будто это действует вирус, будто Нэнси не существует! Кто это, подумал он, если это не Нэнси?

Он осторожно поставил ее на пол и, словно вновь родившийся, переполненный любовью и счастьем, стал читать вслух из молитвенника. Попросил, чтобы она отвечала на вопросы, какие полагаются в таких случаях. Сказал:

— Считаю, что я капитан, и считаю, что я сочетал нас, тебя и себя, браком — да, Нэнси!

Брак оказался удачным. Корабль летел по огромной, похожей на орбиту кометы кривой. Ушел далеко-далеко. Так далеко, что Солнце

превратилось в еле различимую точку. Гравитация солнечной системы практически перестала влиять на показания приборов.

Как-то Нэнси подошла к нему и сказала:

— Я думаю, ты знаешь, почему не выдержал, поддался слабости.

— Нет, не знаю, — ответил он.

Она серьезно посмотрела на него. Потом заговорила снова:

— Я думаю твоим разумом. Я живу в твоем теле. Если здесь, на корабле, ты умрешь, я умру тоже. Но пока ты здесь, на корабле, и ты жив, буду жива и я и буду существовать от тебя отдельно. Странно, правда?

— Да, странно, — согласился он и почувствовал, как в сердце заново поднимается старая боль.

— И однако я кое-что тебе скажу — что я скажу, известно той части твоего разума, которой я пользуюсь. Я знаю, что существую. Я сознаю, как высока твоя техническая подготовка, и даже ее чувствую, хотя не испытываю страданий оттого, что ее у меня нет. Образование у меня такое, какое, по-твоему, у меня должно было бы быть, какое ты хотел бы у меня видеть. Но задумывалась ты или нет над тем, что сейчас происходит? Наша, твой и мой, мозг работает сейчас почти в пять раз напряженней обычного. Все силы твоего воображения заняты только тем, что непрерывно создают меня. Все твои мысли — только обо мне. Они мне нужны, и мне нужно, чтобы ты любил меня, но не остается ни одной мысли на случай аварии, и ни одной — для Космической Службы. Делашь ты самый минимум. Стою ли этого я?

— Конечно, стоишь, дорогая. В тебе есть все, чего мужчина ждет от любимой, и от самой любви, и от жены, и от настоящего друга.

— Но как ты не понимаешь? Я забираю от тебя все лучшее. Ты это вкладываешь в меня, а когда корабль вернется на Землю, я исчезну.

Каким-то странным образом, но он понимал, что на него действует «сокта». Он смотрел на милую Нэнси, на ее блестящие ухоженные волосы, и вдруг осознавал, что она никогда их не причесывает — и ему становилось ясно, что с ним происходит. Смотрел, как она одета, и вдруг осознавал, что для такого количества платьев на корабле не хватило бы места. И, однако, она продолжала их менять, прекрасные, нарядные, необыкновенные, день за днем. Он ел пищу, которой, он знал, на корабле не могло быть. Но ни то, ни другое, ни третье тревоги в нем не вызывали.

Сейчас он запустил пальцы ей под волосы. Сказал:

— Я знаю, дорогая, я спятил, и знаю, что ты не существуешь...

— Да нет же, я существую. Я — это ты. Я — часть Гордона Грина, это так же точно, как то, что я вышла за тебя замуж. Ты вернешься на Землю, любимый, а я вернусь в глубины твоего сознания и там буду жить, пока живешь ты. Ты не можешь потерять меня, а я не могу с тобой расстаться, и ты не можешь забыть меня. Убежать к другому я могу только через твои губы. Вот почему это так странно. Вот почему столько об этом говорят.

— Я люблю тебя,— сказал Гордон Грин,— хотя знаю, что ты призрак и знаю, что ты скоро исчезнешь и все для нас кончится. Но я счастлив уже оттого, что сейчас ты со мной. Меня не тянет к спиртному. Я не притронулся бы к наркотикам. И однако я счастлив.

Каждый день оба занимались обычными делами. Проверяли по звездной карте маршрут, записывали результаты наблюдений, продиктовали несколько глупых замечаний в бортовой журнал. Покончив с делами, на большом огне в красивом камине, которого не было, поджаривали зефир. Пламя в камине обжигать не могло, но их обжигало. Зефиры на корабле не было, но все равно они его поджаривали и с наслаждением ели.

Так проходила их жизнь, полная волшебства, и волшебство это не раздражало, не ранило и не вызывало чувства безнадежности, не вызывали отчаяния.

Они были очень счастливой парой.

Даже хомяки это чувствовали. Хомяки оставались опрятными и упитанными. Охотно съедали свой корм. Излечились от морской болезни. Часто и подолгу смотрели на Гордона Грина.

Одного из хомяков, того, у которого нос был коричневый, он выпустил из клетки, чтобы тот мог побегать по салону. Грин сказал ему:

— Боевой ты, ничего не скажешь. Будто родился для космоса, бедняга, вот и отбываешь здесь службу.

Еще только раз Нэнси заговорила об их будущем. Она сказала:

— Наверно, ты понимаешь, что у нас не может быть детей. Этого «сокта» не допускает. То есть вообще детей иметь ты можешь, но это будет довольно-таки странно: ты на ком-то женишься, а где-то на заднем плане всегда буду я. Буду обязательно.

Они вернулись на Землю. Добрались назад.

Суровый и усталый полковник медицинской службы посмотрел на него пристально и сказал:

— Так мы и думали.

— А что вы думали, сэр? — спросил располневший и сияющий лейтенант Грин.

— У вас Нэнси, — ответил ему полковник.

— Да, сэр. Я приведу ее сейчас.

— Приведите, — буркнул полковник.

Грин вернулся в корабль и стал звать и искать Нэнси. Ее нигде не оказалось. Озадаченный, он возвратился к полковнику. Расстроен он все равно не был. Он сказал:

— Я ее не нашел, но уверен, что она где-то здесь.

Полковник улыбнулся странной, сочувственной, усталой улыбкой.

— Она всегда будет где-то здесь, лейтенант. Необходимый минимум работы вы выполнили. Не знаю, следует или нет нам отговаривать людей вашего склада от полетов в дальний космос. Я думаю, вы понимаете, что как бы застыли в вашем теперешнем состоянии. Вас наградят

знаком «Задание выполнено». Выполнено успешно: вы побывали дальше, чем кто-либо до вас. Кстати, Вондерлейен говорит, что вас знает, и сказал, что будет ждать вас у выхода. На всякий случай, чтобы не наступило шоковое состояние, мы положим вас в госпиталь.

— Никакого шокового состояния, — сказал мой двоюродный брат, — в госпитале у меня не было.

Он даже не скучал по Нэнси. Как мог он по ней скучать, если она от него не ушла? Ведь он знал, что она где-то рядом — за углом, за дверью, а если не там, то все равно где-то совсем близко.

За завтраком он знал, что она появится к обеду. За обедом — что она будет во второй половине дня. К концу дня он знал, что с ней познакомится.

Он знал, что безумен. Что безумнее быть нельзя.

Он прекрасно знал, что Нэнси нет и никогда не было. Понимал, что вообще-то должен был ненавидеть вирус «сокта» за то, что тот с ним сделал, однако вирус этот сам облегчал им же вызванные страдания.

Использование этого средства несло человеку способность вечно надеяться, обещало, что нечто пребудет с ним всегда, а обещание, что нечто пребудет с тобой всегда, часто лучше прекрасной действительности, которая пребудет с тобой лишь временно.

Вот и вся история. Когда лейтенанта Грина попросили выступить против использования этого средства, он сказал:

— Кто, я? Чтобы я отказался от Нэнси? Не говорите глупостей.

— Ведь на самом деле ее все равно нет, — заметил кто-то.

— Вы так думаете? — сказал мой двоюродный брат, лейтенант Грин.

## СОДЕРЖАНИЕ

Джеймс БЛИШ. Произведение искусства	3
Фредрик БРАУН. Кукольный театр .	18
Рэй БРЭДБЕРИ. Мессия . . .	26
Кордвейнер СМИТ. Нэнси .	35

НЭНСИ

*Научно-фантастические рассказы  
американских писателей*

Составил и перевел с английского Ростислав Рыбкин

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 27.06.90. Подписано к печати 26.04.90. Формат 70 × 108<sup>1/2</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,24.  
Тираж 150 000 экз. Заказ № 1977. Цена 30 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● В жизни нередко бывает, когда неосторожность, невнимательность или злой случай приводят к различным травмам на производстве, улице, дома. Поэтому советуем заключить договор страхования от несчастных случаев, который гарантирует выплаты денежных сумм при травмах и других непредвиденных обстоятельствах.

● Договоры заключаются с лицами в возрасте от 16 до 74 лет на срок от одного года до пяти лет.

● Страховая сумма — 500 рублей и выше. Лицам, заключившим договор на срок от 3 до 5 лет, предоставляется скидка в размере 5—15% с исчисленной суммы платежа.

● Подробнее ознакомиться с условиями страхования и заключить договор можно в инспекции госстраха или у агента, обслуживающего Ваше предприятие, учреждение или организацию. Страхового агента можно пригласить на дом.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СССР.  
ПРАВЛЕНИЕ.**